М. А. Васильев.

РУССКИЙ ЯЗЫК.

КНИГА ДЛЯ КЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

ДЛЯ ТАТАРСКИХ ШКОЛ.

Часть II.

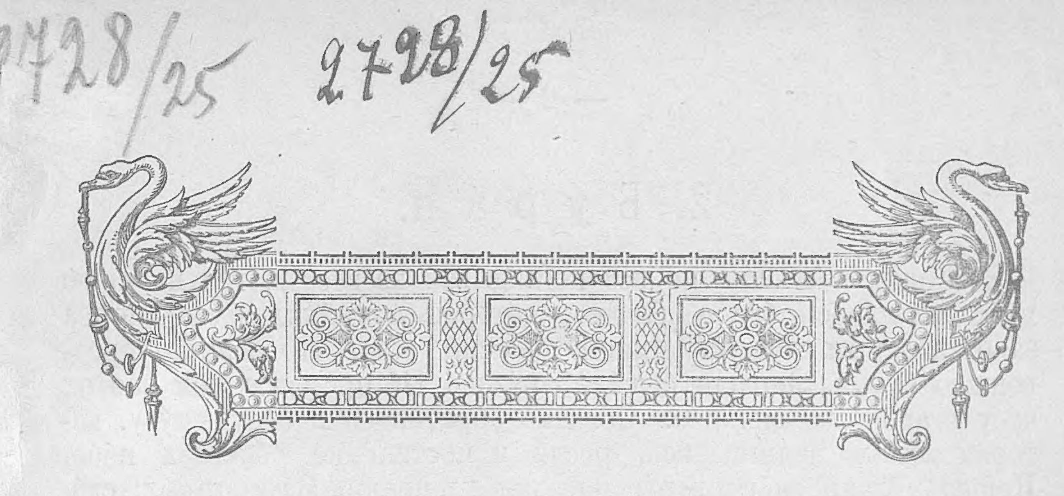
3 и 4 годы обучения.

Цена 1 руб.

КАЗАНЬ.
Издание Комбината Издательства и Печати Т.С.С.Р.
1925 г.

лавлит ТССР № 731. Казань. Тираж 5000.

афия Комбината Издательства и Печати „Красный Печатник" Казанская,



ПРО́ЗА.

I. Среди́ люде́й и приро́ды.

1. Воробе́й.

Я возвраща́лся с охо́ты и шёл по алле́е са́да. Соба́ка бежа́ла впереди́ меня́. Вдруг она́ уме́ньшила свои́ шаги́ и начала́ кра́сться, ка́к бы зачу́яв пе́ред собо́ю дичь. Я гляну́л вдоль алле́и и увида́л молодо́го воробья́, с желтизно́й о́коло клю́ва и пу́хом на голове́. Он упа́л из гнезда́ (ве́тер си́льно кача́л берёзы алле́и) и сиде́л неподви́жно, безпомо́щно растопы́рив едва́ прораста́вшие кры́лышки.

Моя́ соба́ка ме́дленно приближа́лась к нему́, как вдру́г, сорва́вшись с бли́зкого де́рева, ста́рый черногру́дый воробе́й ка́мнем упа́л пе́ред са́мой её мордой и, весь взъеро́шенный, искажённый, с отча́янным и жа́лким пи́ском, прыгну́л ра́за два в направле́нии зуба́стой раскры́той па́сти.

Он ки́нулся спаса́ть, он заслони́л собо́ю своё де́тище... Всё ма́ленькое те́ло трепета́ло от у́жаса, голосо́к одича́л и охри́п, замира́л; он же́ртвовал собо́ю! Каки́м грома́дным чудо́вищем должна́ была́ ему́ каза́ться соба́ка! И всё-таки он не мог усиде́ть на свое́й высо́кой, безопа́сной ве́тке... Си́ла, сильне́е его́ во́ли, сбро́сила его́ отту́да.

Мой Трезо́р останови́лся... ви́дно, и он призна́л э́ту си́лу.

Я поспеши́л отозва́ть смущённаго пса́--и удали́лся благогове́я. Я благогове́л пе́ред ма́ленькой герои́ческой пти́цей, пе́ред любо́вным её поры́вом.

И. С. Турге́нев.

2. Бура́н.

Ямщи́к поскака́л, но всё погля́дывал на восто́к, где на краю́ не́ба показа́лось бе́лое о́блачко, кото́рое я при́нял бы́ло сперва́ за отдалённый хо́лмик. Ямщи́к об'ясни́л мне, что о́блачко предвеща́ло бура́н. Ло́шади бежа́ли дру́жно. Ве́тер между́ тем ча́с от ча́су станови́лся сильне́е. Облачко обрати́лось в бе́лую ту́чу, кото́рая тяжело́ поднима́лась, росла́ и постепе́нно облега́ла не́бо. Пошёл ме́лкий сне́г и вдру́г повали́л хло́пьями. Ве́тер завы́л; сде́лалась мяте́ль. В одно́ мгнове́ние тёмное не́бо смеша́лось с сне́жным мо́рем. Всё исчёзло.

— Ну́, ба́рин, закрича́л ямщи́к: беда́—бура́н!... Я вы́глянул из киби́тки: всё бы́ло мрак и вихрь... Ло́шади шли ша́гом и ско́ро ста́ли. Сне́г так и вали́л. Около киби́тки поднима́лся сугро́б. Ло́шади стоя́ли пону́ря го́ловы и и́зредка вздра́гивали. Вдруг уви́дел я что-то́ чёрное.

Я приказа́л е́хать на незнако́мый предме́т, кото́рый то́тчас и ста́л подвига́ться на́м навстре́чу. Че́рез две мину́ты мы поровня́лись с челове́ком.

— Ге́й, до́брый челове́к! — закрича́л ему́ ямщи́к: скажи́, не зна́ешь ли, где́ доро́га?

— Доро́га-то зде́сь; я стою́ на твёрдой полосе́,—сказа́л доро́жный,—да что́ то́лку? ви́шь, кака́я пого́да? как раз собьёшься с доро́ги. Лу́чше зде́сь останови́ться да пережда́ть, аво́сь бура́н ути́хнет, да не́бо проясни́тся, тогда́ найдём доро́гу по звёздам.

Я уж реши́лся ночева́ть среди́ сте́пи, как вдруг доро́жный сел прово́рно на облучо́к и сказа́л ямщику́:

— Ну, сла́ва бо́гу, жи́ло недалёко; свора́чивай на ле́во да поезжа́й.

— А почему́ ты ду́маешь, что жи́ло недале́че?—спроси́л я.

— А потому́, что ве́тер отто́ле потяну́л, и я слы́шу—ды́мом пахну́ло; зна́чит, дере́вня бли́зко.

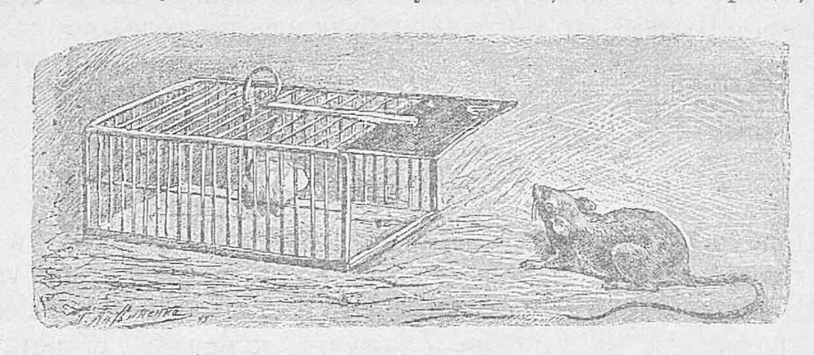
Сме́тливость е́го и то́нкость чутья́ меня́ изуми́ли. Я велёл ямщику́ е́хать. Ло́шади тяжело́ ступа́ли по глубо́кому сне́гу. Киби́тка ти́хо подвига́лась, то в'езжа́я на сугро́б, то́ обруша́ясь в овра́г и перева́ливаясь то на одну́ сто́рону, то на другу́ю. Я заку́тался в шу́бу и задрема́л, убаю́канный пе́нием бу́ри и ка́чкою ти́хой езды́.

А. Пу́шкин.

3. Смышлёная мы́шка.

Вы́шла мы́шка из своей но́рки и уви́дела лову́шку.

— „Каки́е хитрецы́ э́ти лю́ди,—поду́мала мы́шка:—поста́вят я́щичек с откры́той две́ркой, прице́пят в я́щике на крючо́к кусо́чек са́ла и ду́мают на́с обману́ть. Нет, злы́е хитрецы́, меня́



на э́том не проведёте! Я отли́чно зна́ю, что́ сто́ит то́лько дотрону́ться до са́ла, две́рка хло́пнет—и оста́нешься в лову́шке“.

Осторо́жно обхо́дит мы́шка лову́шку, а сама́ всё погля́дывает на ла́комый кусо́чек.—„Нет, нет,—сама́ себе́ говори́т мы́шка:— не дотрону́сь я до са́ла“.

„Тро́гать нельзя́,—ду́мает мы́шка,—а понюхать, ведь, мо́жно: не захло́пнется же от э́того две́рка! Дай понюхаю немно́жко,— са́ло та́к вку́сно па́хнет!“

Осторо́жно вошла́ мы́шка в лову́шку, вы́тянула мо́рдочку, жа́дно тя́нет ла́комый во́здух. Ма́нит са́ло мы́шку. Глаза́ разгоре́лись. Подхо́дит мы́шка бли́же и бли́же—дотрону́лась до прима́нки. Две́рка—хло́п, и невозде́ржная у́мница оста́лась в лову́шке.

Л. Толсто́й.

---

4. Волк и соба́ка.

Голо́дный во́лк ходи́л по́дле дере́вни и встре́тил жи́рную соба́ку. Волк спроси́л у соба́ки: „Скажи́, соба́ка, отку́да вы корм берёте?“

Соба́ка сказа́ла: „Лю́ди нам даю́т!“

Волк спра́шивает: „Должно́-быть вы тру́дную слу́жбу слу́жите?“

— Нет, на́ша слу́жба не тру́дная. Де́ло на́ше — по ноча́м двор стере́чь.

— Так и я бы сейча́с в ва́шу слу́жбу пошёл, — говори́т во́лк;—а то нам, волка́м, тру́дно корм достава́ть.

— Что-ж, иди́,—сказа́ла соба́ка.—Бу́дешь служи́ть, хозя́ин и тебя́ корми́ть ста́нет.

Волк был рад и пошёл с соба́кой к лю́дям служи́ть.

Стал уж волк в воро́та входи́ть, и ви́дит он, что у соба́ки на ше́е ше́рсть стёрта, и спра́шивает: „а э́то у тебя́, соба́ка, отчего́?“

— Да та́к, от це́пи. Днём, ведь, я на цепи́ сижу́, так вот це́пью и стёрло немно́го ше́рсть на ше́е.

— Ну, так проща́й, соба́ка!—сказа́л волк.—Не пойду́ к лю-дям жить. Пуска́й не так жирён бу́ду, да на во́ле.

Л. Толсто́й.

---

5. Лиси́ца и жура́вль.

Подружи́лась лиса́ с журавлём и зовёт его́ к себе́ в го́сти: „Приходи́, куманёк, приходи́, дорого́й! Уж вот как тебя́ угощу́!“

Пришёл жура́вль на зва́ный обе́д, а лиса́ навари́ла ма́нной ка́ши, разма́зала по таре́лке и по́тчует журавля́: „Ку́шай, куманёк, ку́шай, голу́бчик! Сама́ стря́пала!“ Жура́вль хло́п-хло́п но́сом по таре́лке, стуча́л, стуча́л—ничего́ не попада́ет. А лиса́ ли́жет себе́ да ли́жет ка́шу, та́к всю сама́ и ску́шала. С'е́ла лиса́ ка́шу и говори́т:

„Не обессу́дь, куманёк, бо́льше по́тчевать не́чем“!

— „Спаси́бо, кума́, и на э́том“, отвеча́ет жура́вль: „приходи́ за́втра ко мне́“.

На другой де́нь прихо́дит лиса́ к журавлю́, а жура́вль наготовил окро́шки, наложи́л её в высо́кий кувши́н с у́зким го́рлышком, поста́вил на стол и по́тчует: „Ку́шай, ку́мушка, ку́шай, ми́лая! Пра́во, бо́льше по́тчевать не́чем!“ Верти́тся лиса́ вокру́г кувши́на: и так зайдёт, и э́так, и лизнёт-то кувши́н и понюхает —но окро́шки из него́ доста́ть не мо́жет. А жура́вль стои́т на свои́х дли́нных нога́х да дли́нным но́сом из кувши́на окро́шку таска́ет: клева́л да клева́л, пока́ всё с‘ёл. „Ну, не обессу́дь, ку́мушка! бо́льше угоща́ть не́чем“. Пошла́ лиса́ домо́й не со́лоно хлеба́вши. На э́том у ни́х и дру́жба ко́нчилась.

---

6. Со́лнце и ве́тер.

Се́верный ве́тер и со́лнце одна́жды заспо́рили, кто́ из ни́х име́ет бо́лее си́лы. Они́ реши́ли призна́ть победи́телем того́, кто́ пе́рвый сдёрнет с прохо́жего оде́жду.

На́чал про́бовать свою́ мо́щь ве́тер: он поду́л из всех сил, рва́л, верте́л и мета́л во все́ сто́роны; ста́ло хо́лодно, а ве́тер свирепе́л ещё бо́льше; прони́зывал челове́ка насквозь, и тогда́ прохо́жий ещё тепле́е уку́тывался: он надви́нул ша́пку на са́мые у́ши, плотне́е запахну́л полушу́бок и покре́пче стяну́л куша́к. Как ве́тер ни стара́лся, разде́ть челове́ка не мо́г. Он переста́л ду́ть и сказа́л со́лнцу: „Ну, тепе́рь ты́ покажи́ свою́ си́лу“.

Со́лнце я́рко освети́ло всю окре́стность. Всё ста́ло согрева́ться под его́ живи́тельными луча́ми, всё повеселе́ло; и прохо́жий почу́вствовал прия́тную теплоту́. Он с удово́льствием смотре́л на со́лнце, прикрыва́я глаза́ руко́ю, и распоя́сался, сня́л куша́к. Пройдя́ немно́го, он расстегну́л полушу́бок и распахну́лся. Со́лнце пригрева́ло всё сильне́е и сильне́е. „Экая благода́ть! Экое добро́, что́ за теплы́нь!“ ду́мал челове́к и сня́л с себя́ полушу́бок. Он шёл в одно́й руба́хе и постоя́нно снима́л ша́пку, отира́л с лица́ горя́чий по́т.

Со́лнце оста́лось победи́телем, и ве́тер до́лжен бы́л призна́ть его́ вели́кую си́лу.

---

7. Ве́рная соба́ка.

Оди́н купе́ц отпра́вился в доро́гу верхо́м, и сле́дом за ни́м бежа́л его́ ве́рный пу́дель. Купе́ц е́хал зате́м, что́бы получи́ть большу́ю су́мму де́нег. Получи́вши де́ньги и привяза́в их в мешке́ к седлу́, пое́хал он домо́й. Доро́гою мешо́к отвяза́лся и упа́л, а купе́ц и не заме́тил. Зо́ркий пу́дель ви́дел, как упа́л мешо́к; по-

пробовал было поднять его зубами, но почувствовал, что он был ему не под силу. Тогда пудель, оставив мешок, догнал своего хозяина, забежал вперёд, стал кидаться на лошадь и лаять с ожесточением и упорством. Не зная в чём дело, купец кричал на пуделя, бранил его, ударял кнутом—ничего не помогало. Верное животное продолжало кидаться на лошадь с такою яростью, как будто хотело стащить долой своего хозяина. Видя, что ничего не помогает, и что купец все едет дальше и дальше, пудель стал кусать за ноги лошадь, чтобы заставить хозяина воротиться. Купец испугался: ему пришло на мысль, что пудель его взбесился, и, зная, как опасны бешеные собаки, купец решился застрелить своего верного слугу.

Долго ещё однакож старался он отделаться от пуделя то ласками, то угрозами, то ударами кнута; но видя, что это не помогает, вынул пистолет и с стеснённым сердцем выстрелил в верную собаку. Бедное животное упало; но через минуту опять поднялось и с жалобным визгом, обливаясь кровью, старалось следовать за хозяином. Купец очень любил своего верного пуделя, ему было тяжело смотреть, как он страдает, и потому он, пришпорив лошадь, ускакал вперёд. От'ехав немного, купец захотел взглянуть, что сталось с бедным животным, и тут только, оборачиваясь назад, заметил он, что мешка с деньгами не было у седла. Понял тогда купец, почему так упорно лаяла и кидалась на него верная собака, и ему было больше жаль собаку, нежели денег. Он тотчас же поскакал назад; но не нашёл уже пуделя на том месте, где его оставил. Следы крови по дороге показывали, что собака воротилась назад. Как больно было доброму купцу, когда, отправившись по кровавым следам, он нашёл верное животное у мешка с деньгами. Понятливо смотрела собака на своего хозяина и ласково лизала его руку.

---

8. Раковина и орёл.

На подводной скале около гористого берега океана сидит исполинская раковина. Створки у неё—с умывальный таз. Она так тяжела, что и взрослый человек с трудом может поднять её и унести. В раковине живёт огромный слизняк. Несмотря на свою величину, раковина—самое миролюбивое существо. Сидит она на своей скале неподвижно, раскрывая и закрывая по временам свои створки; вместе с водой она глотает множество мелких, едва заметных морских животных,—это её обыкновенная пища.

В океа́не че́рез ка́ждые ше́сть часо́в вода́ то отлива́ет от бе́рега, то опя́ть его́ затопля́ет. Ра́ковина остаётся на своём ме́сте и во вре́мя отли́ва; скала́ открыва́ется тогда́ из воды́, а ра́ковина закрыва́ет свои́ ство́рки и терпели́во ждёт, когда́ вода́ сно́ва скалу́ покро́ет.

Тут же, на высо́кой прибре́жной скале́, сви́л себе́ гнездо́ орёл. И о́н зачасту́ю сиди́т по це́лым часа́м неподви́жно и терпели́во выжида́ет, не пока́жется ли на пове́рхности воды́ кака́я-нибу́дь ры́ба, не оста́вит ли океа́н по́сле отли́ва како́й-нибу́дь пожи́вы. Стрело́й ки́нется тогда́ орёл и схва́тит когтя́ми добы́чу.

Одна́жды орёл усе́лся как ра́з про́тив то́й скалы́, на кото́рой жила́ исполи́нская ра́ковина. Наступи́ло вре́мя отли́ва. Ве́рхние края́ ство́рок у ра́ковины вы́ставились и́з-под воды́. Не успе́л слизня́к захло́пнуть свои́х ство́рок, как орёл ри́нулся стрело́ю и вонзи́л в него́ свои́ о́стрые ко́гти. Ми́гом захло́пнулись тогда́ тяжёлые ство́рки и защеми́ли орли́ную ла́пу.

По́здно по́нял орёл свою́ оши́бку: о́н не мо́г сдви́нуть с ме́ста исполи́нской ра́ковины, не мо́г и высвободить ла́пы из кре́пко сти́снутых ство́рок. Напра́сно крича́л он и би́лся: ра́ковина его́ кре́пко держа́ла.

Че́рез ше́сть часо́в начался́ прили́в, и вода́ покры́ла и скалу́, и ра́ковину, и орла́. Когда́ хи́щник не обнару́живал уж бо́льше при́знаков жи́зни, ство́рки ра́ковины раскры́лись, и тру́п орла́ по́плыл по волна́м океа́на.

---

9. Ката́нье с гор.

Наконе́ц переломи́лась жесто́кая зима́, и уняли́сь треску́чие моро́зы.

На́чало пригрева́ть со́лнышко, начала́ ло́сниться доро́га, пришла́ ма́сленица, и начало́сь ката́нье с го́р. В обще́ственных ката́ньях, к сожале́нию моему́, мать не позволя́ла мне уча́ствовать, и то́лько ката́ясь с сестри́цей, а иногда́ и с ма́леньким бра́тцем, проезжа́я ми́мо, с за́вистью посма́тривал я на толпу́ дереве́нских ма́льчиков и де́вочек, кото́рые, раскрасне́вшись от движе́ния и хо́лода, сме́ло лете́ли с высо́кой горы́, пря́мо от гумна́, на ма́леньких сала́зках, конька́х и ледя́нках; ледя́нки бы́ли не́ что ино́е, как ста́рые решо́та и кру́глые лубо́чные луко́шки, подморо́женные сни́зу та́к же, как и коньки́. Шу́мный го́вор и смех раздава́лся в бо́дрой, весёлой толпе́, когда́ лете́ли вве́рх нога́ми нае́здники с высо́ких конько́в, или, бы́стро вертя́сь, опроки́дывалась ледя́нка с како́й-нибу́дь де́вочкой, кото́рая начина́ла

визжа́ть задо́лго до круше́ния своего́ экипа́жа. Как мне хоте́лось туда́, в э́тот шу́м, го́вор и сме́х... и как после́ это́го зре́лища каза́лось мне́ ску́чным уедине́нное ката́нье с ледяно́й го́рки, устро́енной в саду́ пе́ред о́кнами гости́нной; и то́лько одно́ меня́ утеша́ло, что́ моя́ ми́лая сестри́ца ката́лась вме́сте со мно́ю.

С. Акса́ков.

10. Ро́ща о́сенью.

Я сиде́л в берё́зовой ро́ще о́сенью, о́коло полови́ны сентября́. С са́мого утра́ перепада́л ме́лкий до́ждик, сменя́емый по времена́м тё́плым со́лнечным сия́нием; была́ непостоя́нная пого́да. Я сиде́л и гляде́л круго́м и слу́шал.

Ли́стья чуть шуме́ли над мое́й голово́й; по одному́ их шу́му мо́жно бы́ло узна́ть, како́е тогда́ стоя́ло вре́мя го́да. То был не весё́лый, смею́щийся тре́пет весны́, не мя́гкое шушу́канье, не до́лгий го́вор ле́та, не ро́бкое и холо́дное лепета́ние по́здней о́сени, а едва́ слы́шная дремо́тная болтовня́. Сла́бый ве́тер чу́ть-чу́ть тяну́л по верши́нам.

Вну́тренность ро́щи, вла́жной от дождя́, беспреста́нно изменя́лась, смотря́ по тому́, свети́ло ли со́лнце, и́ли закрыва́лось о́блаком; она́ озаря́лась вся, сло́вно вдруг в ней всё улыбну́лось; то́нкие стволы́ не сли́шком ча́стых берё́з внеза́пно принима́ли не́жный о́тблеск бе́лого шё́лка: то вдруг опя́ть всё круго́м сине́ло: я́ркие кра́ски мгнове́нно га́сли, берё́зы стоя́ли все бе́лые, без бле́ску, бе́лые, как то́лько что вы́павший снег;—и укра́дкой лука́во начина́л се́яться и шепта́ть по́ лесу мельча́йший дождь.

Листва́ на берё́зах была́ ещё́ почти́ вся́ зелена́, хотя́ заме́тно побледне́ла; ли́шь ко́е-где́ стоя́ла одна́, моло́денькая, вся кра́сная, и́ли вся́ золота́я, и на́добно бы́ло ви́деть, как она́ я́рко вспы́хивала на со́лнце, когда́ лучи́ его́ внеза́пно пробива́лись, скользя́ и пестре́я, скво́зь ча́стую се́тку то́нких ве́ток, то́лько что омы́тых сверка́ющим дождё́м. Ни одно́й пти́цы не́ было слы́шно: всё приюти́лись и замо́лкли; ли́шь и́зредка звене́л стально́й колоко́льчиком насме́шливый го́лос сини́цы.

И. Турге́нев.

11. Ру́бка ле́са зимо́ю.

Ждё́т не дождё́тся лесни́к, чтоб моро́з поскоре́й вы́жал сок из дере́вьев и скова́л боло́та, а ма́тушка—зима́ бе́лым по́логом покры́ла-бы лесну́ю пусты́ню, и ка́ждый де́нь мо́лится он бо́гу, поскоре́й бы госпо́дь бе́лую зи́му на чё́рную зё́млю посла́л.

Но во́т, сло́вно бе́лые му́хи, запорха́ли в во́здухе пуши́стые снежи́нки; ти́хо ложа́тся они́ на суху́ю промёрзлую зе́млю. Всё беле́ет: и у́лица, и кро́вли домо́в, и поля́, и ве́тки дере́вьев. Це́лую но́чь снегово́й пу́х па́дает на зе́млю. К у́тру кра́сно-о́гненным ша́ром вы́катилось на проясне́вшее не́бо со́лнышко. У лесннко́в в глаза́х рябя́т от ослепи́тельного бле́ска; но ра́ды они́ радёшеньки и ве́село хлопо́чут, сбира́ясь в ле́с лесова́ть. Они́ то́чно на пра́здник спеша́т: ла́дят са́ни, грузя́т их запа́сами печёного хле́ба и сухаре́й, крупо́й да горо́хом, да сушёными гриба́ми с ре́пчатым лу́ком. И во́т, прости́вшись с дома́шними, по-е́хали они́ к свои́м зимни́цам на трудову́ю жи́знь.

Зимо́й рабо́та в леса́х кипи́т. Ро́нят дере́вья, воло́чат их к спла́ву, вя́жут плоты́, те́шут сосно́вые бру́сья, ру́бят оси́ну да берёзу, ко́лют ле́с на ка́дки, на бо́чки и на вся́кое дру́гое щепно́е поде́лье. Сту́к топоро́в, тре́ск па́дающих леси́н, кри́ки лесннко́в, ржа́нье лошаде́й далеко́ разно́сятся по лесны́м пусты́ням.

П. Ме́льников.

---

12. Руса́к.

За́яц-руса́к жил зимо́ю по́дле дере́вни. Когда́ пришла́ но́чь, он по́днял одно́ у́хо, послу́шал; пото́м по́днял друго́е, поводи́л

усáми, понюхал и сел на зáдние лáпы. Потóм он прыгнýл раз-другóй по глубóкому снéгу и опя́ть сел на зáдние лáпы и стáл огля́дываться. Со всех сторóн ничегó нé было ви́дно, крóме снéга. Снег лежáл волнáми и блестéл, как сáхар. Над головóй зáйца стоя́л морóзный пар, и сквозь э́тот пар виднéлись больши́е я́ркие звёзды.

Зáйцу нýжно бы́ло перейти́ чéрез большýю дорóгу, чтóбы прийти́ на знакóмое гумнó. На большóй дорóге слы́шно бы́ло, как визжáли полóзья, фы́ркали лóшади, скрипéли крéсла в саня́х.

Зáяц опя́ть останови́лся пóдле дорóги. Мужики́ шли́ пóдле санéй с пóднятыми воротникáми кафтáнов. Ли́ца их бы́ли чуть видны́. Бóроды, усы́, ресни́цы их бы́ли бéлые. Изо ртов и носóв их шёл пар. Лóшади их бы́ли пóтные, и к пóту пристáл и́ней. Лóшади толкáлись в хомутáх, ныря́ли, выныривали в ухáбах. Мужики́ догоня́ли, обгоня́ли, би́ли кнутáми лошадéй. Два старикá шли ря́дом, и оди́н расскáзывал другóму, как у негó укрáли лóшадь.

Когдá обóз проéхал, зáяц перескочи́л дорóгу и полегóньку пошёл к гумнý. Собачóнка от обóза увидáла зáйца. Онá залáяла

и бро́силась за ним. За́яц поскака́л к гумну́ по субо́ям; за́йца держа́ли субо́и, а соба́ка на деся́том прыжке́ завя́зла в снегу́ и останови́лась. Тогда́ за́яц то́же останови́лся, посиде́л на за́дних ла́пах и тихо́нько пошёл к гумну́. По доро́ге он, на зеленя́х, встре́тил дву́х за́йцев. Они́ корми́лись и игра́ли. За́яц поигра́л с това́рищами, покопа́л с ни́ми моро́зный снег, пое́л о́зими и пошёл да́льше. На дере́вне бы́ло всё ти́хо, огни́ бы́ли поту́шены. То́лько слы́шался пла́ч ребе́нка в избе́, че́рез сте́ны, да треск моро́за в брёвнах изб. За́яц прошёл на гумно́ и та́м нашёл това́рищей. Он поигра́л с ни́ми на расчи́щенном току́, пое́л овса́ из на́чатой кладу́шки, взобра́лся по кры́ше, занесённой сне́гом, на ови́н и че́рез плете́нь пошёл наза́д к своему́ овра́гу. На восто́ке свети́лась заря́, звёзд ста́ло ме́ньше, и ещё гу́ще моро́зный па́р подыма́лся на́д землёю. В бли́жней дере́вне просну́лись ба́бы и шли за водо́й; мужики́ несли́ корм с гу́мен, де́ти крича́ли и пла́кали. По доро́ге ещё бо́льше шло обо́зов, и мужики́ гро́мче разгова́ривали.

За́яц перескочи́л че́рез доро́гу, подошёл к свое́й ста́рой норе́, вы́брал месте́чко повы́ше, раскопа́л сне́г, лёг за́дом в но́вую но́ру уложи́л на спине́ у́ши и засну́л с откры́тыми глаза́ми.

Л. Толсто́й.

---

13. Ночле́г в лесу́.

Пу́тники реши́лись заночева́ть в лесу́. Лошаде́й вы́прягли, за́дали им овса́. Утопта́ли вокру́г снег. Рабо́чие на́чали су́чья да валёжник руби́ть, костры́ скла́дывать и, когда́ стемне́ло, зажгли́ их. Пота́п Макси́мыч вы́тащил из сане́й большу́ю ко́жаную кису́ с доро́жными припа́сами, ме́дный кувши́н с ква́сом. Устро́или тра́пезу: тю́ри с лу́ком накроши́ли, капу́сты с ква́сом, грибо́в солёных. Хоть и не бо́льно вку́сно, да сы́тно поу́жинали.

Ночь надвига́лась. Кра́сное за́рево костро́в, освеща́я низи́ну ле́са, уси́ливало мрак в его́ верши́нах и по сторона́м.

С тре́ском горе́вших ветве́й е́льника и фы́рканьем лоша́дей смеша́лись лесны́е голоса́. Ро́вно пла́чущий ребёнок, запища́л где-то сыч. Вдали́ послы́шался тоскли́вый кри́к, бу́дто челове́к в отча́янном боре́ньи со сме́ртью зовёт к себе́ на по́мощь: это— кри́ки фи́лина. Побли́же завози́лась в верши́не сосны́ бе́лка, просну́вшаяся от необы́чного све́та; едва́ слы́шно перепрыгну́ла она́ на друго́е де́рево, пото́м—на тре́тье, и всё да́льше и да́льше от пыла́вших костро́в. Чуть сти́хло,—и вот уж доно́сится и́здали лёгкий хруст сухо́го валёжника: то кровожа́дная куница осто-

рóжно пробирáется из своегó дуплá к дéреву, где задремáл глýпый красноглáзый тéтерев. Ещё минýта тишины,—и в вершúне раздáлся жáлобный крик птúцы, хлóпанье крыльев, и затéм всё смóлкло: кунúца поймáла добычу и пьёт горячую крóвь из перекýшенного гóрла тéтерева. Опять глубóкое безмóлвие, и вдруг слышится тóчно кóшачье прыскание: это рысь, чутьём заслышавшая присýтствие лáкомого мяса в вúде лошадéй. Но огóнь не допускáет блúзко звéря, и рысь сéрдится, мурлычет, сверкáя крýглыми, зелёными глазáми, и прядёт кúсточками на концáх высóких прямых ушéй. Опять тишь. И вдруг лúбо заверещúт бéдный зайчúшка, попáвший в зýбы хúщной лисé, лúбо завóзится чтó-то в ветвях: это совá поймáла спáвшего рябчика.—Лесные обитáтели живýт не по нáшему.—обéдают по ночáм.

Но вот вдалú, зá версту или бóльше заслышался вой; емý отклúкнулся другóй, трéтий вой,—всё блúже и блúже. Смолк, и послышалось прядáнье зверéй по нáсту, ворчáнье, стук зубóв...

Вóлки! бóязно прошептáл Потáп Максúмыч, толкáя в бок задремáвшего Стýколова. Все спáли крéпким сном.

А? Что? промычáл Стýколов.

Слышь? Вóют!—говорúл Потáп Максúмыч.

Да, вóют... равнодýшно отвечáл Стýколов.—Эк их что тут! Чýют мясо.

Бедá! шóпотом промóлвил Потáп Максúмыч.

Какáя же бедá? Никакóй беды нет... А вот побóльше огня нáдо. Эй, вы, ребята! крúкнул он рабóтникам.—Проснúсь! Эк заспалúсь!... Валú на кострú бóльше.

Рабóтники встáли неохóтно вмéсте со Стýколовым и с самúм Потáпом Максúмычем навалúли громáдные кострú. Заигрáли плáменные языкú по хвоé, и зáрево разлилóсь пó лесу.

Вúдимо-невúдимо!....—говорúл оторопéвший Потáп Максúмыч, слыша со всех сторóн вóлчьи голосá.

Зверéй ужé мóжно было вúдеть. Освещённые зáревом, онú сидéли кругóм, пощёлкивая зубáми.

Ничегó,—успокáивал Стýколов;—огóнь бы тóлько не переводúлся. То ли ещё бывáет!

В сáмом дéле, вóлки никáк не смéли блúзко подойтú к огню, хоть их, голóдных, и сúльно тянýло к лошадям.

Эх, ружья-то нет: пугнýл бы сéрых, мóлвил Стýколов.

Молчú ты, какóе ещё тут ружьё! Тогó и глядú сожрýт..... тревóжно говорúл Потáп Максúмыч.—Глянь-ко, глянь-ко, со всех сторóн повалúли! Ах, ты, гóсподи!...

А вóлки всё блúзятся; было их до пятúдесяти, кóли не бóльше. Смéлость зверéй рослá с кáждою минýтой: не дáльше как в трёх саженях, сидéли онú вокрýг кострóв, щёлкали зубáми и за-

вывáли. Лóшади давнó покúнули тóрбы с лáкомым овсóм, жáлись в кýчу и, прядáя ушáми, тревóжно озирáлись. У Потáпа Максúмыча зуб нá зуб не попадáл.

Без мáлого час врéмени прошёл, а пýтники всё ещё сидéли в осáде. Дó свету оставáться в такóм положéнии бы́ло нельзя́: пожáлуй, и кострú не помóгут, да не хвáтит и заготóвленного

валёжника. Но Стýколов—человéк бывáлый: он расстáвил всех по местáм и велéл рáзом бросáть в волкóв úзо всей сúлы горя́щие хвóйные вéтви.

— Раз, два, три!..—и горя́щие вéтви полетéли к зверя́м.

Те отскочúли и сéли подáльше, щёлкая зубáми и огрызáясь.

— Раз, два, три!..—крúкнул он опя́ть.

Завы́ли звéри. Но когдá Стýколов, схватúв чуть не сажённую пылáющую ветвь, брóсился с нею вперёд,—вóлки ры́сью вдаль, и чéрез нéсколько минýт их нé было слы́шно.

— Тепéрь не прибегýт,—мóлвил Стýколов, надевáя шýбу и уклáдываясь в сáни.

— Дóшлый же ты человéк, Якúм Прóхорыч! — мóлвил Потáп Максúмыч.—Не будь тебя́,—сожрáли бы онú нас.

Стýколов не отвечáл. Завернýвшись с головóй в шýбу, он заснýл богаты́рским сном.

Мéльников (Печéрский).

---

14. Веснóй.

С землú ещё не сошёл снег, а в дýшу ужé прóсится веснá. Земля́ холоднá, грязь со снéгом хлю́пает под ногáми, но как кругóм всё вéсело, лáсково, привéтливо! Вóздух так я́сен и про-

зра́чен, что е́сли взобра́ться на голубя́тню и́ли на колоко́льню, то, ка́жется, уви́дишь всю́ вселе́нную от кра́я до кра́я. Со́лнце све́тит я́рко, и лучи́ его́, игра́я и улыба́ясь, купа́ются в лу́жах вме́сте с воробья́ми. Ре́чка надува́ется и темне́ет; она́ уже́ просну́лась и не сего́дня—за́втра заревёт. Дере́вья го́лы, но уже́ живу́т, ды́шат.

В тако́е вре́мя хорошо́ гнать метло́й и́ли лопа́той гря́зную во́ду в кана́вах, пуска́ть по воде́ кора́блики и́ли долби́ть каблука́ми упря́мый лёд. Хорошо́ та́кже ла́зить на дере́вья и привя́зывать там скворе́чницы.

Да, всё хорошо́ в э́то счастли́вое вре́мя го́да!.

А. Че́хов.

---

15. Лози́на.

Вы́шел мужи́к на огоро́д и коло́м ощу́пал зе́млю. Земля́ раски́сла. Мужи́к пошёл в ле́с. В лесу́ на лози́не уже́ наду́лись по́чки. Мужи́к и поду́мал: „да́й обсажу́ огоро́д лози́ной, вы́растет—защи́та бу́дет!“ Взя́л топо́р, наруби́л деся́ток лози́нику, затеса́л с то́лстых концо́в ко́льями и воткну́л в зе́млю.

Все лози́нки вы́пустили побе́ги вверху́ с ли́стьями и внизу́ под землёю вы́пустили таки́е же побе́ги заме́сто коре́ньев; и одне́ зацепи́лись за́ землю и приняли́сь, а други́е нело́вко зацепи́лись за́ землю коре́ньями—за́мерли и повали́лись.

К о́сени мужи́к пора́довался на свои́ лози́ны: шесть штук приняли́сь. На другу́ю ве́сну о́вцы обгры́зли четы́ре лози́ны, и две то́лько оста́лись. На другу́ю ве́сну и э́ти обгры́зли о́вцы. Одна́ совсе́м пропа́ла, а друга́я спра́вилась, ста́ла окореня́ться и разросла́сь де́ревом. По весна́м пчёлы гудьмя́-гуде́ли на лози́не. В роёвщину ча́сто на лози́ну сади́лись рои́, и мужики́ огреба́ли их. Ба́бы и мужики́ ча́сто за́втракали и спа́ли под лози́ной, а ребя́та ла́зили на неё и выла́мывали из неё пру́тья.

Мужи́к тот, что посади́л лози́ну, давно́ уже́ у́мер, а она́ всё росла́. Ста́рший сын два ра́за сруба́л с неё су́чья и топи́л и́ми. Лози́на всё росла́. Обру́бят её круго́м, сде́лают ши́шку, а она́ на ве́сну вы́пустит опя́ть су́чья, хотя́ и то́ньше, но вдвое бо́льше пре́жних, как вихо́р у жеребёнка.

И ста́рший сын переста́л хозя́йничать, и дере́вню ссели́ли, а лози́на всё росла́ в чи́стом по́ле. Чужи́е мужики́ е́здили, руби́ли её—она́ всё росла́. Грозо́й уда́рило в лози́ну; она́ спра́вилась боковы́ми су́чьями, и всё росла́ и цвела́. Оди́н мужи́к хоте́л сруби́ть её на коло́ду, да бро́сил: она́ была́ дю́же гнила́. Лози́на свали́лась на́ бок и держа́лась то́лько одни́м бо́ком, а всё росла́, и всё ка́ждый го́д прилета́ли пчёлы обира́ть с её цвето́в по́ску.

Собрали́сь раз ребя́та ра́но весно́й стере́чь лошаде́й под лози́ну. Показа́лось им хо́лодно: они́ ста́ли разводи́ть ого́нь, на́брали жнивья́, чернобы́лу, хво́росту. Оди́н взлез на лози́ну, с неё же налома́л су́чьев. Скла́ли они́ всё в ду́пло лози́ны и зажгли́. Зашипе́ла лози́на, закипе́л в ней сок, пошёл дым и стал перебега́ть ого́нь: всё нутро́ её почерне́ло. Смо́рщились молоды́е побе́ги, цветы́ завя́ли. Ребя́та угна́ли домо́й лошаде́й. Обгоре́лая лози́на оста́лась одна́ в по́ле. Прилете́л чёрный во́рон, сел на неё и закрича́л: „что́, издо́хла, ста́рая кочерга́, давно́ пора́ бы́ло!“

Л. Толсто́й.

---

16. П о ж а́ р.

В жнитво́ мужики́ и ба́бы ушли́ на рабо́ту. В дере́вне оста́лись то́лько ста́рые да ма́лые. В одно́й избе́ остава́лись ба́бушка и тро́е внуча́т. Ба́бушка истопи́ла пе́чку и легла́ отдохну́ть. На неё сади́лись му́хи и куса́ли её. Она́ закры́ла го́лову полоте́нцем и засну́ла. Одна́ из вну́чек, Ма́ша, (ей бы́ло три го́да) откры́ла пе́чку, нагребла́ уго́льев в черепо́к и пошла́ в се́ни. А в сеня́х лежа́ли снопы́. Ба́бы пригото́вили э́ти снопы́ на свя́зла. Ма́ша принесла́ уго́лья, положи́ла под снопы́ и ста́ла дуть. Когда́ соло́ма ста́ла загора́ться, она́ обра́довалась, пошла́ в и́збу и привела́ за́ руку бра́та Кирю́шку (ему́ бы́ло полтора́ го́да, он то́лько что вы́учился ходи́ть) и сказа́ла:

— Гля́нь, Килю́ска, каку́ю я пе́чку взду́ла.

Снопы́ уже́ горе́ли и треща́ли. Когда́ застла́ло се́ни ды́мом, Ма́ша испуга́лась и побежа́ла наза́д в и́збу. Кирю́шка упа́л на поро́ге, расши́б нос и запла́кал.

Ма́ша втащи́ла его́ в и́збу, и они́ о́ба спря́тались под ла́вку. Ба́бушка ничего́ не слыха́ла и спала́. Ста́рший ма́льчик, Ва́ня, (ему́ бы́ло во́семь лет) был на у́лице. Когда́ он увида́л, что из сене́й вали́т дым, он вбежа́л в дверь, сквозь дым переско́чи́л в и́збу и стал буди́ть ба́бушку; но ба́бушка спросо́нок ошале́ла и забы́ла про дете́й,—вы́скочила и побежа́ла по двора́м за наро́дом. Ма́ша тем вре́менем сиде́ла под ла́вкой и молча́ла; то́лько ма́ленький ма́льчик крича́л, потому́ что бо́льно разби́л себе́ нос. Ва́ня услыха́л его́ крик, погляде́л под ла́вку и закрича́л Ма́ше:

— Беги́, сгори́шь!

Ма́ша побежа́ла в се́ни, но от ды́ма и от огня́ нельзя́ бы́ло пройти́. Она́ верну́лась наза́д. Тогда́ Ва́ня по́днял окно́ и веле́л ей лезть. Когда́ она́ проле́зла, Ва́ня схвати́л бра́та и потащи́л его́. Но ма́льчик был тяжёл и не дава́лся бра́ту. Он пла́кал и толка́л Ва́ню. Ва́ня два ра́за упа́л, пока́ дотащи́л его́ к окну́:

дверь в избе́ уже́ загоре́лась. Ва́ня просу́нул ма́льчикову го́лову в окно́ и хоте́л протолкну́ть его́, но ма́льчик (он о́чень испуга́лся) ухвати́лся ручо́нками и не пуска́л их. Тогда́ Ва́ня закрича́л Ма́ше:

— Тащи́ его́ за́ голову!—а сам толка́л сза́ди.

И так они́ вы́тащили его́ в окно́ на у́лицу и са́ми вы́скочили.

Л. Толсто́й.

---

17. Коро́ва.

Жила́ вдова́ Ма́рья со свое́й ма́терью и с шестью́ детьми́. Жи́ли они́ бе́дно, но купи́ли на после́дние де́ньги бу́рую коро́ву, что́бы бы́ло молоко́ для дете́й. Ста́ршие де́ти корми́ли Буре́нушку в по́ле и дава́ли ей помо́и до́ма. Оди́н раз мать вы́шла со двора́, а ста́рший ма́льчик, Ми́ша, поле́з за хле́бом на по́лку, урони́л стака́н и разби́л его́. Ми́ша испуга́лся, что его́ бу́дет брани́ть мать, подобра́л больши́е стёкла от стака́на, вы́нес на двор и зары́л в наво́зе, а ма́ленькие стёклышки все подобра́л и бро́сил в лоха́нку. Ма́ть хвати́лась стака́на, ста́ла спра́шивать, но Ми́ша не сказа́л; так де́ло и оста́лось.

На друго́й день, по́сле обе́да, пошла́ ма́ть дава́ть Буре́нушке помо́и из лоха́нки и ви́дит: Буре́нушка скучна́ и не ест ко́рма. Ста́ли лечи́ть коро́ву, по́звали ба́бку. Ба́бка сказа́ла: „Коро́ва жива́ не бу́дет, на́до уби́ть её на мя́со“. По́звали мужика́, ста́ли бить коро́ву. Де́ти услыха́ли, как на дворе́ зареве́ла Буре́нушка, собрали́сь все на пе́чку и ста́ли пла́кать. Когда́ уби́ли Буре́нушку, сня́ли шку́ру и разре́зали на ча́сти, у ней в го́рле нашли́ стекло́.

И узна́ли, что она́ издо́хла оттого́, что ей попа́ло стекло́ в помо́ях. Когда́ Ми́ша узна́л э́то, он стал го́рько пла́кать и призна́лся ма́тери о стака́не. Мать ничего́ не сказа́ла и сама́ запла́кала. Она́ сказа́ла: „Уби́ли мы свою́ Буре́нушку, купи́ть тепе́рь не́ на что. Как проживу́т ма́лые де́ти без молока́?“ Ми́ша ещё пу́ще стал пла́кать и не слеза́л с пе́чи, когда́ е́ли сту́день из коро́вьей головы́. С тех пор у дете́й молока́ не́ было. То́лько по пра́здникам быва́ло молоко́, когда́ Ма́рья попро́сит у сосе́дей горшо́чек. Случи́лось, ба́рыне той дере́вни пона́добилась к ди́тяти ня́ня. Стару́шка и говори́т до́чери: „Отпусти́ меня́, я пойду́ в ня́ни, а тебе́, мо́жет, бог помо́жет одно́й с детьми́ управля́ться. А я, бог даст, заслужу́ в год на коро́ву“. Так и сде́лали. Стару́шка ушла́ к ба́рыне. А Ма́рье ещё тяжеле́е с детьми́ ста́ло. И де́ти без молока́ це́лый год жи́ли: оди́н кисе́ль и тю́рю е́ли— и ста́ли худы́е и бле́дные. Прошёл год: пришла́ стару́шка домо́й

и принесла́ два́дцать рубле́й. „Ну, до́чка,—говори́т,—тепе́рь ку́пим коро́ву“. Обрадо́валась Ма́рья, обра́довались все де́ти. Собрала́сь Ма́рья со стару́хой на база́р покупа́ть коро́ву. Сосе́дку попроси́ли с детьми́ побы́ть, а сосе́да, дя́дю Заха́ра, попроси́ли с ни́ми пое́хать выбира́ть коро́ву. Помоли́лись Бо́гу, пое́хали в го́род. Де́ти пообе́дали и вы́шли на у́лицу смотре́ть, не веду́т ли коро́ву. Ста́ли де́ти суди́ть: кака́я бу́дет коро́ва: бу́рая и́ли чё́рная? Ста́ли они́ говори́ть, как её корми́ть бу́дут. Жда́ли они́, жда́ли це́лый день. За́ версту ушли́ встреча́ть коро́ву; уже́ смерка́ться ста́ло, верну́лись наза́д. Вдруг ви́дят: по у́лице е́дет на теле́ге ба́бушка, а у за́днего колеса́ идё́т пё́страя коро́ва, за рога́ привя́зана. Сза́ди идё́т мать, хворости́ной её подгоня́ет. Подбежа́ли де́ти, ста́ли смотре́ть коро́ву. На́брали хле́ба, травы́ и ста́ли её корми́ть. Мать вошла́ в и́збу, разде́лась и вы́шла на двор с полоте́нцем и подо́йником, и ста́ла дои́ть коро́ву; а де́ти се́ли круго́м и смотре́ли. Надои́ла мать полови́ну подо́йника, снесла́ на по́греб и отлила́ де́тям горшо́чек молока́ к у́жину.

Л. Толсто́й.

---

18. Аку́ла.

Наш кора́бль стоя́л на я́коре у бе́рега Африки. День был прекра́сный, с мо́ря дул све́жий ве́тер, но к ве́черу пого́да измени́лась: ста́ло ду́шно, и то́чно из то́пленой пе́чки несло́ на нас горя́чим во́здухом с пусты́ни Саха́ры.

Пе́ред зака́том со́лнца капита́н вы́шел на па́лубу, кри́кнул: „Купа́ться!“—и в одну́ мину́ту матро́сы попры́гали в во́ду, спусти́ли в во́ду па́рус, привяза́ли его́ и в па́русе устро́или купа́льню.

На корабле́ с на́ми бы́ло два ма́льчика. Ма́льчики пе́рвые попры́гали в во́ду, но им те́сно бы́ло в па́русе, и они́ взду́мали пла́вать вперего́нки в откры́том мо́ре.

Оба, как я́щерицы, вытя́гивались в воде́ и, что бы́ло си́лы, по́плыли к тому́ ме́сту, где был бочё́нок над я́корем.

Оди́н ма́льчик снача́ла перегна́л това́рища, но пото́м стал отстава́ть. Оте́ц ма́льчика, ста́рый артиллери́ст, стоя́л на па́лубе и любова́лся на своего́ сыни́шку. Когда́ сын стал отстава́ть, оте́ц кри́кнул: „Не выдава́й! Понату́жься!“

Вдру́г с па́лубы кто́-то кри́кнул: „Аку́ла!“ И все мы увида́ли в воде́ спи́ну морско́го чудо́вища.

Аку́ла плыла́ пря́мо на ма́льчиков.

— „Назáд! назáд! вернúтесь! акýла!“ кричáл артиллерúст. Но ребя́та не слыхáли его́, плы́ли дáльше, смея́лись и кричáли ещё веселе́е и гро́мче пре́жнего.

Артиллерúст, бле́дный, как полотно́, не шевеля́сь, смотре́л на детей.

Матро́сы спустúли ло́дку, бро́сились в неё и, сгибáя вёсла, понесли́сь, что было сúлы, к мáльчикам; но онú бы́ли ещё далеко́ от них, когдá акýла уже́ была не дáльше двадцатú шаго́в.

Мáльчики сначáла не слыхáли того́, что им кричáли, и не видáли акýлы; но пото́м одúн из них оглянýлся—и мы все услыхáли пронзúтельный визг, и мáльчики по́плыли в рáзные сто́роны.

Визг э́тот как бýдто разбудúл артиллерúста. Он сорвался́ с ме́ста и побежáл к пýшкам. Он прице́лился и взял фитиль.

Мы все, ско́лько нас нú было на корабле́, зáмерли от стрáха и ждáли, что бýдет.

Раздáлся вы́стрел, и мы увидáли, что артиллерúст упáл по́дле пýшки и закры́л лицо́ рукáми. Что сде́лалось с акýлой и с мáльчиками, мы не видáли, потомý что на минýту дым застлáл нам глазá.

Но, когдá дым разоше́лся над водо́ю, со всех сторо́н послы́шался сначáла тúхий ро́пот, пото́м ро́пот э́тот стáл сильне́е, и наконе́ц со всех сторо́н раздáлся гро́мкий, рáдостный крик. Стáрый артиллерúст откры́л лицо́, подня́лся́ и посмотре́л нá море. По волнáм колыхáлось жёлтое брю́хо мёртвой акýлы. В не́сколько минýт ло́дка подплылá к мáльчикам и привезлá их на корáбль.

Л. Толстой.

---

19. Ле́тняя ночь в дере́вне.

Давно́ поýжинали. Поýжинавши и спать полеглú—кто в клетú, кто на сеновáле, кто на жúтнице, а кто и на дворе́ в уголке́, лúбо на мáтушке сыро́й земле́ в огоро́де... А в úзбах пýсто... Жáрко уж о́чень и дýшно, и там никáк не уснёшь.

Сильне́й и сильне́й темне́ет; тúхий безо́блачный ве́чер сменя́ется тáкою же тúхою, тёплою, дýшною но́чью. Луны́ нет: на бле́дно-се́ром небе́сном сво́де кой-где́ мерцáют звёздочки, а вечёрняя заря́ передвигáется с со́лнечного закáта к восто́ку. Пáла росá хоть не о́чень обúльная, но всё-таки благоухáние испаре́ний с душúстых трав и цвето́в напо́лнило во́здух. Дýшно. Пáрит от до́лгой засýхи: ско́ро, вúдно, дождётся наро́д грозы́ с дождём. Без того́ совсе́м бедá: яровы́е пожёлкли, озимы́й ко́лос не наливáется, трáвы вы́горели... По небе́сным закро́ям поминýтно вспы́хивает зарнúца. Быть грозе́, быть дождю́...

Хо́дит сон по села́м, дрема́ по деревня́м; ни бли́жнего го́вора, ни да́льнего людско́го го́мона не слы́шно. Всё зати́хло, всё замо́лкло; лишь кузне́чики тя́нут неумолка́емые свои́ пе́сни, перепела́ во ржи перeклика́ются, да дерга́ч ре́зким го́лосом кричи́т на боло́те. Изредка соба́ки ни с того́, ни с сего́ подни́мут бестолко́вый лай. Помере́щится кудла́шке, что чужо́й на дворе́: тя́вкнет раз, тя́вкнет друго́й, тре́тий, и по всем двора́м поднима́ется лай. Нала́явшись до́сыта, оди́н пёс, опусти́в хвост, уля́жется, бурча́ понемно́гу, зевнёт и заснёт. За ним и друга́я и тре́тья соба́ка; и опя́ть на селе́ мёртвая тишина́, и опя́ть нигде́ ни зву́ка.

П. Ме́льников (Пече́рский).

---

20. Ночле́г на лугу́.

Глу́хо отдава́лись мои́ шаги́ в застыва́ющем во́здухе. Побледне́вшее не́бо ста́ло опя́ть сине́ть,—но то уже́ была́ синева́ но́чи. Звёздочки замелька́ли, зашевели́лись на нём. До́лго шёл я, с трудо́м переставля́я но́ги. Каза́лось, о́троду не быва́л я в таки́х пусты́х места́х: нигде́ не мерца́л огонёк, не слы́шалось никако́го зву́ка. Оди́н поло́гий холм сменя́лся други́м, поля́ бесконе́чно тяну́лись за поля́ми, кусты́ сло́вно встава́ли вдруг из земли́ пе́ред са́мым мои́м но́сом. Я всё шёл, и уже́ собра́лся было приле́чь где-нибу́дь до утра́, как вдруг очути́лся над стра́шной бе́здной.

Я бы́стро отдёрнул занесённую но́гу и, сквозь едва́ прозра́чный су́мрак но́чи, уви́дел далёко под собо́ю огро́мную равни́ну. Широ́кая река́ огиба́ла её уходя́щим от меня́ полукру́том. Холм, на кото́ром я находи́лся, спуска́лся вдруг почти́ отве́сным обры́вом. Во́зле реки́, под са́мою кру́чью холма́, кра́сным огнём горе́ли и дыми́лись друг по́дле дру́жки два огонька́. Вокру́г них копоши́лись лю́ди.

Я узна́л, наконе́ц, куда́ я зашёл. Этот луг сла́вится в на́ших око́лодках под назва́нием Бе́жина Лу́га... Но́ги подка́шивались по́до мно́й от уста́лости. Я реши́лся подойти́ к огонька́м и в о́бществе тех люде́й, кото́рых при́нял за гуртовщико́в, дожда́ться зари́. Я благополу́чно спусти́лся вниз, но не успе́л вы́пустить из рук после́днюю ухва́ченную мно́ю ве́тку, как вдруг две больши́е лохма́тые соба́ки со зло́бным ла́ем бро́сились на меня́. Де́тские зво́нкие голоса́ разда́ли́сь вокру́г огне́й, два-три ма́льчика бы́стро подняли́сь с земли́. Они́ подбежа́ли ко мне, отозва́ли то́тчас соба́к, и я подошёл к ним.

Я оши́бся, приня́в люде́й, сиде́вших вокру́г тех огне́й, за гуртовщико́в. Это про́сто были крестья́нские ребяти́шки из со-

се́дней дере́вни, кото́рые стерегли́ табу́н. Я сказа́л ма́льчикам, что заблуди́лся, и подсе́л к ни́м. Они́ спроси́ли меня́, отку́да я, помолча́ли, посторони́лись. Мы немно́го поговори́ли. Я прилёг под обгло́данный ку́стик и стал гляде́ть круго́м. Карти́на была́ чуде́сная. Тёмное чи́стое не́бо торже́ственно и необ'я́тно—высоко́ стоя́ло над на́ми со всем свои́м таи́нственным великоле́пием. Круго́м не слы́шалось почти́ никако́го шу́ма.... Одни́ огоньки́ тихо́нько потре́скивали...

Ма́льчики сиде́ли вокру́г них. Всех ма́льчиков бы́ло пять: Ѳе́дя, Павлу́ша, Илю́ша, Ко́стя и Ва́ня. (Из их разгово́ров я узна́л их имена́). Я лежа́л в стороне́ и погля́дывал на ма́льчиков. Небольшо́й котё́льчик висе́л над одни́м из огне́й; в нём вари́лись карто́шки. Павлу́ша наблюда́л за ни́ми, сто́я на коле́нях, ты́кал ще́пкой в закипа́вшую во́ду. Ѳе́дя лежа́л, опери́шись на ло́коть и раски́нув по́лы своего́ армяка́. Илю́ша сиде́л ря́дом с Ко́стей и напряжё́нно щу́рился. Ко́стя пону́рил немно́го го́лову и гляде́л куда́-то вдаль. Ва́ня не шевели́лся под свое́й рого́жей. Ма́льчики понемно́гу разговори́лись....

Бо́лее трёх часо́в протекло́ с тё́х пор, как я присе́л к ма́льчикам. Они́ ста́ли укла́дываться пе́ред огнё́м, собира́ясь спать. Разгово́р их угаса́л вме́сте с огня́ми... Соба́ки дрема́ли: ло́шади, ско́лько я мог различи́ть при све́те звёзд, то́же лежа́ли, пону́рив го́ловы.... Сла́бое забытьё́ напа́ло на меня́; оно́ перешло́ в дремо́ту...

Све́жая струя́ пробежа́ла по моему́ лицу́. Я откры́л глаза́: у́тро зачина́лось. Я прово́рно вста́л и подошё́л к ма́льчикам. Они́

все спа́ли, как уби́тые, вокру́г тле́ющего костра́; оди́н Па́вел приподня́лся до полови́ны и при́стально погляде́л на меня́. Я кивну́л ему́ голово́й и пошёл восвоя́си вдоль задыми́вшейся реки́.

И. Турге́нев.

---

21. Затме́ние со́лнца.

— А скажи́, пожа́луй, Павлу́ша, на́чал Ѳе́дя, что́ у вас то́же в Шало́мове бы́ло предвиде́нье-то небе́сное?

— Как со́лнца-то не ста́ло ви́дно? Как-же!

— Чай, напуга́лись и вы?

— Да не мы́ одни́. Ба́рин-то наш, хоша́ и толкова́л нам напредки́, что, де́скать, бу́дет вам предвиде́нье, а как затемне́ло, сам, говоря́т, так перетру́сился, что на́-поди. А на дворо́вой избе́ ба́ба-стряпу́ха, так та, как то́лько затемне́ло, слышь, взяла́ да ухва́том все горшки́ переби́ла в печи́: кому́ тепе́рь есть, говори́т, наступи́ло светопреставле́ние. Так шти и потекли́. А у нас на дере́вне таки́е, брат, слу́хи ходи́ли, что, мол, бе́лые во́лки по земле́ побегу́т, люде́й есть бу́дут, хи́щная пти́ца полети́т, а то и само́го Три́шку уви́дят...

— Како́го э́то Три́шку?—спроси́л Ко́стя.

— А ты не зна́ешь?—с жа́ром подхвати́л Илю́ша,—ну, брат, отке́лева-же ты, что Три́шки не зна́ешь? Си́дни-же у вас в дере́вне сидя́т, вот уж то́чно—си́дни! Три́шка—э́то бу́дет тако́й челове́к удиви́тельный, кото́рый приде́т; а придёт он тако́й удиви́тельный челове́к, что его́ и взять нельзя́ бу́дет, и ничего́ сде́лать нельзя́ бу́дет: тако́й уж бу́дет удиви́тельный челове́к. Захотя́т его́, наприме́р, взять хрестья́не, вы́йдут на него́ с дубьём, оце́пят его́, а он им глаза́ отведёт—так отведёт им глаза́, что они́ же са́ми друг дру́га побью́т. В остро́г его́ поса́дят, наприме́р,—он попро́сит води́цы испи́ть в ко́вшике, ему́ принесу́т ко́вшик, а он нырнёт туда́, да и помина́й как зва́ли. Це́пи на него́ наде́нут, а он в ладо́шки затрепе́щется, —це́пи с него́ так и попа́дают. Ну, и бу́дет ходи́ть э́тот Три́шка по сёлам да по города́м; и бу́дет э́тот Три́шка, лука́вый челове́к, соблазня́ть наро́д хрестья́нский,—ну, а сде́лать ему́ нельзя́ бу́дет ничего́. Уж тако́й он бу́дет удиви́тельный лука́вый челове́к.

— Ну, да, продолжа́л Па́вел свои́м неторопли́вым го́лосом,—тако́й. Вот его́-то и жда́ли у нас. Говори́ли старики́, что вот, мол, как то́лько предвиде́нье небе́сное зачнётся, так Три́шка и придёт. Вот и начало́сь предвиде́нье. Вы́сыпал весь наро́д на у́лицу в по́ле, ждёт, что́ бу́дет. А у нас, вы зна́ете, ме́сто ви́дное, приво́льное. Смо́трят—вдру́г от Слобо́дки с горы́ идёт ка-

ко́й-то челове́к, тако́й мудрёный, голова́ така́я удиви́тельная... все как кри́кнут: „ой, Три́шка идёт! ой, Три́шка идёт!"—да кто куда́! Ста́роста наш в кана́ву залёз; ста́ростиха в подворо́тне застря́ла, благи́м ма́том кричи́т, свою́ же дворо́вую соба́ку так запужа́ла, что та с це́пи доло́й, да через плете́нь, да в лес; а Ку́зькин оте́ц, Дорофе́ич, вскочи́л в овёс, присе́л да и дава́й крича́ть пе́репелом: „авось, мол, хоть пти́цу-то враг-душегу́бец пожале́ет". Таково́-то все переполоши́лись! А челове́к-то э́то шёл наш боча́р Вави́л, жбан себе́ но́вый купи́л да на го́лову пусто́й жбан и наде́л".

Все ма́льчики засмея́лись и приумо́лкли на мгнове́нье, как э́то ча́сто случа́ется с людьми́, разгова́ривающими на откры́том во́здухе. Я погляде́л круго́м. Торже́ственно и ца́рственно стоя́ла ночь; сыру́ю све́жесть по́зднего ве́чера смени́ла полуно́чная суха́я теплы́нь, и ещё до́лго бы́ло ей лежа́ть мя́гким по́логом на засну́вших поля́х; ещё мно́го вре́мени остава́лось до пе́рваго ле́пета, до пе́рвых роси́нок зари́. Луны́ не́ было на́ небе: она́ в ту по́ру по́здно всходи́ла. Бесчи́сленные золоты́е звёзды, каза́лось, ти́хо текли́ все, наперerýв мерца́я, по направле́нию мле́чного пути́, и, пра́во, гля́дя на них, вы как бу́дто сму́тно чу́вствовали са́ми стреми́тельный, безостано́вочный бег земли́...

И. Турге́нев.

---

22. Орёл в нево́ле.

Прожива́л у нас не́которое вре́мя в остро́ге орёл из поро́ды степны́х небольши́х орло́в. Кто-то принёс в остро́г его ра́неного, изму́ченного. Вся ка́торга обступи́ла его́; он не мог лета́ть: пра́вое крыло́ его висе́ло по земле́, одна́ нога́ была́ вы́вихнута. По́мню, он я́ростно огля́дывался круго́м, осма́тривая любопы́тную толпу́, и разева́л свой горба́тый нос, гото́вясь до́рого прода́ть свою́ жизнь. Когда́ на него́ насмотре́лись и ста́ли расходи́ться, он отковыля́л, хрома́я, приска́кивая на одно́й ноге́ и пома́хивая здоро́вым крыло́м, в са́мый да́льний коне́ц остро́га, где заби́лся в у́гол. Тут он про́жил у нас ме́сяца три и во всё вре́мя ни ра́зу не вы́шел из своего́ угла́. Снача́ла приходи́ли ча́сто гляде́ть на него́, натра́вливали на него́ соба́ку. Ша́рик кида́лся на него́ с я́ростью, но, ви́димо, боя́лся подступи́ть бли́же, что о́чень поте-ша́ло ареста́нтов. „Зве́рь! говори́ли они.—Не даётся!" Пото́м и Ша́рик стал бо́льно обижа́ть его́; стра́х проше́л, и он, когда́ натра́вливали, изловча́лся хвата́ть его́ за больно́е крыло́. Орёл защища́лся изо всех сил когтя́ми и клю́вом, и го́рдо, и ди́ко, как ра́неный коро́ль, заби́вшись в свой у́гол, огля́дывал любопы́тных,

приходи́вших его́ рассма́тривать. Наконе́ц всем он наску́чил, все его бро́сили, и, однако́ж, ка́ждый день мо́жно бы́ло ви́деть во́зле него́ клочки́ све́жего мя́са и черепо́к с водо́й. Кто-нибу́дь да наблюда́л же его́. Он снача́ла и есть не хоте́л, не ел не́сколько дней; наконе́ц стал принима́ть пи́щу, но никогда́ из рук и́ли при лю́дях. Мне случа́лось не раз и́здали наблюда́ть его́. Не ви́дя никого́ и ду́мая, что он оди́н, он иногда́ реша́лся недалеко́ выходи́ть из угла́ и ковыля́л шаго́в на двена́дцать от своего́ ме́ста, пото́м возвраща́лся наза́д, пото́м опя́ть выходи́л. Зави́дя меня́, он то́тчас же изо всех сил, хрома́я и приска́кивая, спеши́л на своё ме́сто и, отки́нув наза́д го́лову, рази́нув клюв, ощети́нившись, то́тчас же приготовля́лся к бою. Никаки́ми ла́сками я не мог смягчи́ть его́; он куса́лся и би́лся, говя́дины от меня́ не́ брал, и всё вре́мя, быва́ло, как я над ним стою́, при́стально-при́стально смо́трит мне в глаза́ свои́м злым, пронзи́тельным взгля́дом.

Одино́ко и зло́бно он ожида́л сме́рти, не доверя́я никому́ и не примиря́ясь ни с ке́м. Наконе́ц аpermission арестанты то́чно вспо́мнили о нём, и хоть никто́ не забо́тился и не помина́л о нём ме́сяца два, но вдру́г во всех то́чно яви́лось к нему́ сочу́вствие. Заговори́ли, что на́до вы́нести орла́.

— Пусть хоть околе́ет, да не в остро́ге,—говори́ли одни́.

— Вести́мо, пти́ца во́льная, суро́вая, не приу́чишь к остро́гу-то!—поддаки́вали други́е.

— Знать, он не так, как мы!—приба́вил кто-то.

— Вишь сморо́зил: то пти́ца, а мы, зна́чит, челове́ки.

— Орёл, бра́тцы, есть царь лесо́в...

Раз, по́сле обе́да, когда́ про́бил бараба́н на рабо́ту, взя́ли орла́, зажа́в ему клюв руко́й, потому́ что он на́чал жесто́ко дра́ться, и понесли́ из остро́га. Дошли́ до ва́ла: челове́к двена́дцать, бы́вших в э́той па́ртии, с любопы́тством жела́ли ви́деть, куда́ пойдёт орёл. Стра́нное де́ло: все бы́ли чем-то дово́льны, то́чно отча́сти са́ми они́ получи́ли свобо́ду.

— Ишь, добро́ ему́ твори́шь, а он всё куса́ется!—говори́л держа́вший его́, почти́ с любо́вью смотря́ на злу́ю пти́цу.

— Отпуща́й его, Мики́тка!

— Ему во́лю подава́й, запра́вскую во́лю-воло́юшку!

Орла́ сбро́сили с ва́ла в степь. Э́то бы́ло глубо́кою о́сенью в холо́дный и су́мрачный день. Ве́тер свиста́л в го́лой степи́ и шуме́л в пожелте́лой, иссо́хшей, клочкова́той степно́й траве́. Орёл пусти́лся пря́мо, махая́ больны́м крыло́м и как бы торопя́сь уходи́ть от нас, куда́ глаза́ глядя́т. Ареста́нты с любопы́тством следи́ли, как мелька́ла в траве́ его́ голова́.

— Вишь его́!—заду́мчиво проговори́л оди́н.
— И не огля́нется!—приба́вил друго́й.
— Ни ра́зу-то, бра́тцы, не огляну́лся, бежи́т себе́!
— А ты ду́мал благодари́ть воро́тится?—заме́тил тре́тий.
— Зна́мо де́ло—во́ля. Во́лю почу́ял.
— Слобо́да, зна́чит.
— И не вида́ть уж, бра́тцы...
— Чего́ стоя́ть-то? Марш!—закрича́ли конво́йные, и все мо́лча поплели́сь на рабо́ту.

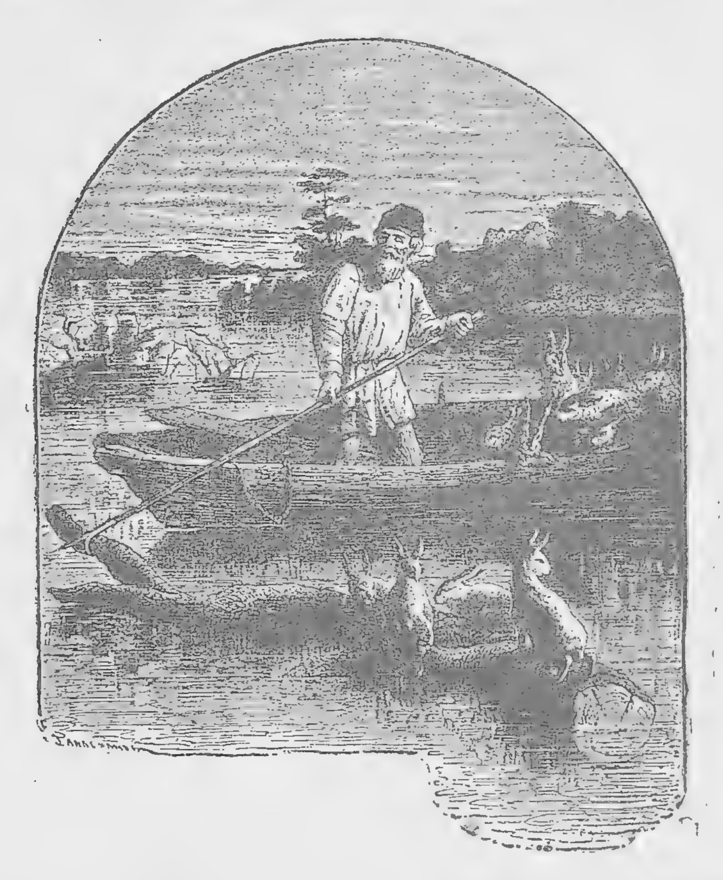
Ф. Достое́вский.

---

23. Де́душка Маза́й.

Дня не прово́дит Маза́й без охо́ты. Жил бы он сла́вно, не знал бы забо́ты, ка́бы не ста́ли глаза́ изменя́ть: на́чал части́нько Маза́й пуделя́ть. Впро́чем, в отча́янье он не прихо́дит: вы́палит де́душка, за́яц ухо́дит; де́душка па́льцем косо́му грози́т: „Врёшь, упадёшь!“ доброду́шно кричи́т. Ста́рый Маза́й разболта́лся в сара́е: „В на́шем боло́тистом ни́зменном кра́е впя́теро бо́льше бы ди́чи вело́сь, ка́бы сетя́ми её не лови́ли, ка́бы си́лка́ми её не дави́ли. За́йцы вот то́же,—их жа́лко до слёз! То́лько весе́нние во́ды нахлы́нут, и без того́ они́ со́тнями ги́бнут, нет, ещё ма́ло! Бегу́т мужики́, ло́вят и то́пят, и бьют их багра́ми. Где у ни́х со́весть?!.. „Я раз за дрова́ми в ло́дке пое́хал,—их мно́го с реки́ к на́м в полово́дье весно́й нагоня́ет,—е́ду, ловлю́ их. Вода́ прибыва́ет. Ви́жу оди́н острово́к небольшо́й,—за́йцы на нём собрали́ся гурьбо́й. С ка́ждой мину́той вода́ подбира́лась к бе́дным зверька́м; уж под ни́ми оста́лось ме́ньше арши́на земли́ в ширину́, ме́ньше саже́ни в длину́. Ту́т я под‘ехал; лопо́чут уша́ми, са́ми ни с ме́ста; я взя́л одного́. Прочи́м скома́ндовал: пры́гайте са́ми! Пры́гнули за́йцы мои́, — ничего́! То́лько усе́лась кома́нда коса́я, ве́сь островочек пропа́л под водо́й: „То́-то! сказа́л я: не спо́рьте со мно́й! Слу́шайтесь, за́йчики, де́да Маза́я!“ Этак гуто́ря, плывём в тишине́. Сто́лбик не сто́лбик,—зайчи́шка на пне. Ла́пки скрести́вши, стои́т горемы́ка; взял я его́, тягота́ не вели́ка! То́лько что на́чал рабо́тать весло́м, гля́дь, у куста́ копоши́тся зайчи́ха! Еле жива́, а толста́, как купчи́ха,—я её, ду́ру, накры́л зипуно́м,—си́льно дрожа́ла... Не ра́но уж бы́ло. Ми́мо бревно́ сукова́тое плы́ло; си́дя, и сто́я, и лёжа пласто́м, за́йцев с деся́ток спаса́лось на нём. „Взял бы я вас,—да пото́пите ло́дку!“ Жаль их, одна́ко, да жаль и нахо́дку;—я зацепи́лся багро́м за сучо́к и за собо́ю бревно́ поволо́к...

Было потёхи у баб, ребятишек, как прокатил я деревней зайчишек:—„Глянь-ко, что делает старый Мазай!“ Ладно, любуйся, а нам не мешай! Мы за деревней в реке очутились: тут мои зайчики точно сбесились: смотрят, на задние лапы встают,



лодку качают, грести не дают: берег завидели плуты косые, озимь, и рощу, и кусты густые!.. К берегу плотно бревно я пригнал, лодку причалил и—„с богом!“ сказал... И во весь дух пошли зайчишки. А я им: у-ух! Живей, зверишки! смотри, косой, теперь спасайся! А, чур, зимой не попадайся: прицелюсь—бух! И ляжешь... У-у-х!.. Мигом команда моя разбежалась, только на лодке две пары осталось,—сильно измокли, ослабли; в мешок я их поклал- и домой приволок. За ночь больные мои отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись; вынес я их на лужок; из мешка вытряхнул, ухнул, и дали стречка. Я проводил их всё тем же советом: „Не попадайтесь зимой!“ Я их не бью ни весною, ни летом: шкура плохая,—линяет косой...

Н. А. Некрасов.

24. Орли́ная ду́ма.

По це́лым часа́м, изо дня в день, сиди́т орёл в клётке зоологи́ческого са́да. Ско́лько дум пролети́т в голове́ э́того нево́льного мечта́теля. Одна́ко интере́сно узна́ть, что высма́тривает орёл в вышине́, о чём он ду́мает по це́лым дня́м? Смотри́те,—в его́ глаза́х сверкну́ла мо́лния, хри́плый кри́к вы́рвался из груди́, размахну́лись могу́чие кры́лья, ещё секу́нда—и орёл бро́сился с своего́ сучка́; но крыло́ уда́рилось о желе́зную решётку; бе́дная пти́ца, ка́к бы очну́вшись, ти́хо подобрала́ кры́лья и сно́ва усе́лась неподви́жно, погрузя́сь в свои́ глубо́кие ду́мы. Если-б вы следи́ли за орли́ным взгля́дом, вы узна́ли бы причи́ну волне́ния орла́: то высоко́ в не́бе пронесла́сь ста́я у́ток. Закипе́ло орли́ное се́рдце, взви́лся бы он в вышину́... но крепка́ решётка желе́зная. Нахо́хлился несча́стный и заду́мался. Вспо́мнилась ему́ широ́кая Во́лга-река́. На круто́м берегу́, на горе́, стои́т дуб-велика́н, а в кудря́вой верши́не—орли́ное гнездо́. Та́м сидя́т они́ с бра́том и смо́трят круго́м. Ди́вен ка́жется мир. Во́н, за Во́лгой, вдали́, зелене́ют луга́; озерки́ и стари́цы их зе́лень пестря́т. Там орёл и орли́ца кружа́т высоко́ над луга́ми, а орля́та за ни́ми всё вре́мя следя́т. Уж жара́ настаёт, а орлы́ всё кружа́т. Пастухи́ подогна́ли стада́ к водопо́ю. Чу́!—орёл закрича́л и стрело́й, сложи́в кры́лья, на ни́з упада́ет. У земли́ уже́ он, за кусто́м не вида́ть, вот подня́лся,—в когтя́х забеле́лось. Бли́же, бли́же, о ра́дость! бу́дет пир: он ягнёнка тащи́т, и орля́та ту́т кри́кнули ра́зом. Та́к весёлые дни́ шли оди́н за други́м. Ма́ть с отцо́м свои́х птенчиков ма́лых балова́ли то гу́сем, то дра́хвой, то ягнёнком, то за́йцем, то у́ткой. И не зна́ли они́, како́й го́лод на све́те живёт. Но стрясла́ся беда́: в оди́н день подошёл к тому́ ду́бу крестья́нин. „А, разбо́йничье пле́мя, так вот где ваш стан! Погоди́те ж!“—и к ду́бу; взлёз к гнезду́ и орля́т с высоты́ вы́швырнул. С ду́ба слез и домо́й он орля́т поволо́к. Увида́ла орли́ца беду́, налете́ла сразма́ху на во́ра, ко́гти в де́ло пусти́ла; но отня́ть ей дете́й не пришло́сь, то́лько ша́пку в когтя́х утащи́ла. Догада́лся мужи́к ещё ра́ньше того́ и дуби́нкой на слу́чай запа́сся. Как орли́ца к нему́—он дуби́нкой махнёт, ничего́ не поде́лает пти́ца. Проводи́ла она́ мужика́ до села́ и там, клу́шку схвати́в, улете́ла. Вспомина́ет орёл, как пото́м он к тата́рам попа́л в обучёнье; как на па́лке носи́ли его́ по заря́м, не корми́ли и спать не дава́ли; как наде́ли на ла́пы ремни́, а глаза́ колпачко́м завяза́ли. И носи́ли его́ до тех пор, пока́ дичи́ться совсе́м переста́л и по зо́ву к руке́ за куско́м прилета́л. А пото́м тот тата́рин повёз его́ в сте́пь и там про́дал кирги́зу Исе́тке. У Исе́та совсе́м жи́знь ина́я пошла́. Тот корми́л его́ вдо́воль; хо́лил, гла́дил, по сте́пи носи́л и вози́лся он с ним сло́в-

но нянька. В этой жизни орёл возмужал; глянцем перья покрылись и глаз заиграл. Только робок он был, как ребёнок: от Исета—ни шагу. Заседлает каурку Исет, а орёл—тут как тут, на луке, и катаются по степи оба. Только раз, уже осень была, рано утром Исет едет степью с орлом, а вдали, за барханом, лисица мелькнула. Мигом сдёрнул колпак он с орла, снял с луки, приподнял, показал ему зверя. Ещё миг—и орёл на свободе совсем очутился, а Исет далеко за лисицей умчался. Тут вскипело орлиное сердце. Поднялся с земли и пошёл на кругах выше—выше. И широко под ним всё степное раздолье открылось. Вот Исет на кауром лисицу гоняет. Как увидел орёл, сложив крылья, стрелой он на низ полетел. Не успела лиса заприметить орла, как в когтях у него очутилась. Тут Исет подскакал: холит, гладит орла, на седло усадил, лисьей печени дал. И приятна орлу эта ласка была: как отца, ведь, любил он Исета. Много лет прожил он у киргиза. Много лис и волков, корсаков, сайгаков он доставил Исету. И из бедного тот стал богат, завелись табуны лошадей и отары овец. Об орле же удалом по всей степи молва пробежала. Приезжали к Исету киргизы не раз вёрст за двести и больше, чтоб орла посмотреть, его удаль узнать: и дивил их орёл, как волков матерых, словно зайцев, хватал и в когтях задушал. Но случилась беда, как к Исету султан Баймурза сам приехал; и пристал же к нему, чтоб орла он продал,—давал лошадь любую из своих табунов, двух верблюдов и стадо баранов. „Не богат я, султан,—говорит ему бедный Исетка,—если надо тебе, ты возьми у меня табунок лошадей и отару овец; ты возьми у меня и кибитку мою, а орла моего я живой не отдам. Он дороже всего мне на свете“. Рассердился султан. „Если так, будешь помнить, собака, как султану ты смел отказать“, и уехал со свитою вдаль; только пыль по степи закружилась. „Ну, беду пронесло“, думал бáтырь Исет и отправился в степь на охоту. Не успел сайгака второчить, как султан налетел из барханов. Он ударил Исета чеканом в лицо; повалился несчастный со стоном. Он к орлу. „Ага, мой, наконец!“ и за путы схватил. Тут очнулся орёл, видит: мёртвый Исет облит кровью лежит; с страшной яростью птица рванулась и впустила все когти султану в лицо. Как ни бился султан, а отбиться не мог и в когтях у орла задохнулся. Но орлиная месть ещё дальше пошла. Острым клювом своим он вспорол ему грудь, вынул сердце султана и съел.

Посмотрел он кругом, опостылела степь без Исета.

Покружил—покружил он над трупом его, взвился в облака, чтобы горе размыкать. Чуден мир показался ему с высоты; в первый раз он взлетел так высоко. Под ним молчалива, сера и угрюма пустыня, с ней он свыкся давно; но вдали край виднелся

ино́й; там холмы́ и леса́, сёла, па́шни пестре́ли, равни́ны; меж холмо́в по доли́нам вили́сь ре́чки, ручьи́, ручейки́; в котлови́нах озёра, боло́та; над ни́ми пёстрым ро́ем, как пчёлы, пти́цы с кри́ком снова́ли. Прикова́ла карти́на орла́ новизно́й, и туда́ он полёт свой напра́вил. Бли́же, бли́же,—вот Во́лга вдали́; не узна́л он снача́ла родну́ю. Подлете́л к Жигуля́м и присе́л отдохну́ть на утёсе. Широко́ разлила́ся корми́лица ру́сской земли́, далеко́ затопи́ла луга́ и леса́, и несёт она́ Ка́спию ста́рому дань—все проду́кты земли́. Вот плывёт дуб могу́чий; вы́рос он сли́шком к бе́регу бли́зко. Посмея́ться хоте́л над волно́й и смея́лся без ма́ла лет две́сти. Но оси́лили во́лны и вы́рвали дуб, и несу́т его́ в Ка́спий далёкий. А на ду́бе плывёт пассажи́р—се́рый за́яц прижа́лся меж су́чьев. Не сочтёшь всех даро́в, что весно́й в Ка́спий Во́лга несёт—тру́пы, хво́рост, ладьи́,—сло́вом, всё, что захва́тит волна́. А навстре́чу верени́цею с ю́га пти́цы летя́т. И припо́мнил орёл, что и сам он на Во́лге рождён. То́чно, вон и скала́—молоде́цкий курга́н, а на не́й ста́рый дуб, где гнездо́ бы́ло их. Вскри́кнул ра́достно он, вскри́кнул так, что круго́м во всех клётках замо́лкли и пти́цы и зве́ри. Тут очну́лся от ду́мы орёл; пе́ред ним нет ни Во́лги реки́, ни скалы́, ни гнезда́, то́лько клётки всё, клётки и клётки; а меж клётками со́тни зева́к. Тут и мы меж зева́к замеша́лися с ва́ми. Всех смути́л крик орла́, а кто по́нял его́? Разгада́л ли из вас кто орли́ную ду́му?

М. Богда́нов.

---

25. Смышлёная соба́ка.

Прошёл ме́сяц. Кашта́нка уже́ привы́кла к тому́, что её ка́ждый ве́чер корми́ли вку́сным обе́дом и зва́ли Тёткой. Привы́кла она́ и к незнако́мцу, и к свои́м но́вым сожи́телям. Жизнь потекла́, как по ма́слу. Все дни начина́лись одина́ково. Обыкнове́нно ра́ньше всех просыпа́лся Ива́н Ива́ныч[1]) и то́тчас же подходи́л к Тётке и́ли коту́, выгиба́л ше́ю и начина́л говори́ть о чём-то горячо́ и убеди́тельно, но попре́жнему непоня́тно. Ино́й раз он поднима́л вверх го́лову и произноси́л дли́нные моно́логи. В пе́рвые дни знако́мства Кашта́нка ду́мала, что он говори́т мно́го потому́, что о́чень умён, но прошло́ немно́го вре́мени, и она́ потеря́ла к нему́ вся́кое уваже́ние; когда́ он подходи́л к не́й со свои́ми дли́нными реча́ми, она́ уже́ не виля́ла хвосто́м, а трети́ровала его́, как надое́дливого болтуна́, кото́рый не даёт нико́му спать, и без вся́кой церемо́нии отвеча́ла ему́: „рррр“.... Фёдор же Тимофе́ич[2]) был ино́го ро́да господи́н. Э́тот, просну́вшись, не

---

[1]) Ива́н Ива́ныч—и́мя гу́ся.
[2]) Фёдор Тимофе́ич—и́мя кота́

издава́л никако́го зву́ка, не шевели́лся и да́же не открыва́л глаз. Он охо́тно бы не просыпа́лся, потому́ что, как ви́дно бы́ло, он не долю́бливал жи́зни. Ничто́ его́ не интересова́ло, ко всему́ он относи́лся вя́ло и небре́жно, всё презира́л и да́же, поеда́я свой вку́сный обе́д, брезгли́во фы́ркал. Просну́вшись, Кашта́нка начина́ла ходи́ть по ко́мнатам и обню́хивать углы́. То́лько ей и коту́ позволя́лось ходи́ть по всей кварти́ре; гусь же не име́л пра́ва переступа́ть поро́г ко́мнаты с гря́зными обо́ями, а Хавро́нья Ива́новна¹) жила́ где-то на дворе́ в сара́йчике и появля́лась то́лько во вре́мя уче́нья. Хозя́ин просыпа́лся по́здно и, напи́вшись ча́ю, то́тчас же принима́лся за свои фо́кусы. Уче́нье продолжа́лось часа́ три-четы́ре, так что ино́й раз Фёдор Тимофе́ич от утомле́ния поша́тывался, как пья́ный, Ива́н Ива́ныч раскрыва́л клюв и тяжело́ дыша́л, а хозя́ин станови́лся кра́сным и ника́к не мог стере́ть со лба пот. Уче́нье и обе́д де́лали дни о́чень интере́сными, вечера́ же проходи́ли скучнова́то. Обыкнове́нно вечера́ми хозя́ин уезжа́л куда́-то и увози́л с собо́ю гу́ся и кота́. Оста́вшись одна́, Тётка ложи́лась на матра́сик и начина́ла грусти́ть... Грусть подкра́дывалась к ней как-то незаме́тно и овладева́ла е́ю постепе́нно, как потёмки ко́мнаты. Начина́лось с того́, что у соба́ки пропада́ла вся́кая охо́та ла́ять, есть, бе́гать по ко́мнатам и да́же гляде́ть, зате́м в воображе́нии её появля́лись каки́е-то две нея́сные фигу́ры, не то соба́ки, не то лю́ди, с физионо́миями симпати́чными, ми́лыми, но непоня́тными; при появле́нии их, Тётка виля́ла хвосто́м, и ей каза́лось, что она́ их где-то, когда́-то ви́дела и люби́ла... А засыпа́я, она́ вся́кий раз чу́вствовала, что от э́тих фигу́р па́хнет клеем, стру́жками, ла́ком.

Когда́ она́ совсе́м уже́ свы́клась с но́вой жи́знью и из то́щей, костля́вой дворня́жки обрати́лась в сы́того, вы́холенного пса, одна́жды пе́ред уче́ньем хозя́ин погла́дил её и сказа́л:

— Пора́ нам, Тётка, де́лом заня́ться. Дово́льно тебе́ бить баклу́ши. Я хочу́ из тебя́ арти́стку сде́лать... Ты хо́чешь быть арти́сткой?—И он стал учи́ть её ра́зным нау́кам. В пе́рвый уро́к она́ учи́лась стоя́ть и ходи́ть на за́дних ла́пах, что ей ужа́сно нра́вилось. Во второ́й уро́к она́ должна́ была́ пры́гать на за́дних ла́пах и хвата́ть са́хар, кото́рый высоко́ над её голово́й держа́л учи́тель. Зате́м в сле́дующие уро́ки она́ пляса́ла, вы́ла под му́зыку, звони́ла и стреля́ла, а чере́з ме́сяц уже́ могла́ с успе́хом заменя́ть Фёдора Тимофе́ича. Учи́лась она́ о́чень охо́тно и была́ дово́льно свои́ми успе́хами; бе́ганье с вы́сунутым языко́м, пры́ганье в о́бруч и езда́ верхо́м на ста́ром Фёдоре Тимофе́иче доставля́ли ей вели-

---

¹) Хавро́нья Ива́новна—и́мя свиньи́.

ча́йшее насла́жде́ние. Вся́кий уда́вшийся фо́кус она́ сопровожда́ла зво́нким, восто́рженным ла́ем, а учи́тель удивля́лся, приходи́л то́же в восто́рг и потира́л ру́ки.

— Тала́нт! Тала́нт!—говори́л он.—Несомне́нный тала́нт! Ты положи́тельно бу́дешь име́ть успе́х!

И Тётка так привы́кла к сло́ву „тала́нт", что вся́кий раз, когда́ хозя́ин произноси́л его́, вска́кивала и огля́дывалась, как бу́дто оно́ бы́ло её кли́чкой.

А. П. Че́хов.

---

26. Матери́нская любо́вь.

Моя́ мать, уезжа́я из Каза́ни, заста́вила моего́ дя́дьку Евсе́ича побожи́ться пе́ред о́бразом, что он уве́домит её, е́сли я сде́лаюсь бо́лен. Он испо́лнил своё обеща́ние. Оди́н из гра́мотных дя́дек написа́л ему́ письмо, в кото́ром, без вся́кой осторо́жности и да́же несправедли́во, он извеща́л, что молодо́й ба́рин бо́лен паду́чею боле́знью, и что его́ о́тдали в больни́цу.

Мо́жно себе́ предста́вить, каки́м громовы́м уда́ром разрази́лось э́то письмо́ над мои́м отцо́м и ма́терью. Письмо́ шло дово́льно до́лго и пришло́ в дере́вню во вре́мя соверше́нной распу́тицы; доро́га прорыва́лась на ка́ждом шагу́, и во вся́ком доло́чке была́ зажо́ра, т.-е. сне́г, насы́щенный водо́ю: е́хать бы́ло почти́ невозмо́жно.

Но мать мо́ю ничто́ удержа́ть не могло́. Она́ вы́ехала в тот же день в Каза́нь с свое́й Пара́шей [1]) и молоды́м му́жем ея Фёдором; е́хала день и ночь на переме́нных крестья́нских, неподко́ванных лошадя́х, в просты́х крестья́нских саня́х в одну́ ло́шадь. Все́х сане́й бы́ло че́тверо; в трех сиде́ло по одному́ челове́ку, без вся́кой покла́жи, кото́рая вся помеща́лась на четвёртых саня́х. То́лько таки́м о́бразом была́ кака́я-нибу́дь возмо́жность подвига́ться шаг за ша́гом вперёд, и то по́льзуясь моро́зными у́тренниками, кото́рые на э́тот раз продолжа́лись, по сча́стью, до полови́ны апре́ля.

В де́сять дне́й дотащи́лась моя́ мать до большо́го села́ Мурзи́хи, на берегу́ Ка́мы; здесь вы́шла уже́ больша́я почто́вая доро́га, кре́пче уе́зженная, и потому́ е́хать по ней представля́лось бо́лее возмо́жности; но зато́ из Мурзи́хи на́до бы́ло перее́хать че́рез Ка́му. Ка́ма ещё не прошла́, но наду́лась и посине́ла; нaкану́не перенесли́ че́рез неё на рука́х по́чту, но в ночь пошёл дождь, и никто́ не соглаша́лся перепра́вить мою́ мать и её спу́тников на другу́ю сто́рону.

---

[1]) Пара́ша—служа́нка.

Мать моя́ принуждена́ была́ ночева́ть в Мурзи́хе. Боя́сь ка́ждой мину́ты промедле́ния, она сама́ ходи́ла из до́ма в дом по дере́вне и умоля́ла до́брых людე́й помо́чь ей, расска́зывала своё горе и предлага́ла в вознагражде́ние всё, что име́ла. Нашли́сь до́брые и сме́лые лю́ди, понима́вшие матери́нское се́рдце; они́ обеща́ли ей, что е́сли дождь в ночь уймётся и к у́тру хоть кро́шечку подмёрзнет, то они́ беру́тся благополу́чно доста́вить её на ту сто́рону и возьму́т то, что она́ пожа́лует им за труды́. До са́мой зари́ моли́лась мать моя́, сто́я в углу́ на коле́нях пред о́бразом то́й избы́, где провела́ ночь. Тёплая матери́нская моли́тва была́ услы́шана: ве́тер разогна́л облака́, и к у́тру моро́з высу́шил доро́гу и то́нким ледо́чком затяну́л лу́жи. На заре́ ше́стеро молодцо́в, рыбако́в по про́мыслу, ка́ждый с шесто́м и́ли багро́м, взя́ли по́д ру́ки обе́их же́нщин, обу́тых в мужски́е сапоги́, да́ли шест Фёдору,—и отпра́вились в путь, пусти́в вперёд са́мого расторо́пного из свои́х това́рищей для ощу́пывания доро́ги.

Доро́га лежа́ла вкось, и на́добно бы́ло пройти́ о́коло трёх вёрст. Перехо́д че́рез огро́мную реку́ в тако́е время́ так стра́шен, что то́лько привы́чный челове́к мо́жет соверши́ть его́, не теря́я бо́дрости и прису́тствия ду́ха. Фёдор и Пара́ша про́сто реве́ли, проща́ясь с бе́лым све́том и со все́ми родны́ми, и в ины́х места́х на́добно бы́ло си́лою заставля́ть их итти́ вперёд; но мать моя́ с ка́ждым ша́гом станови́лась бодре́е и да́же веселе́е. Провожа́тые погля́дывали на неё и приве́тливо потря́хивали голова́ми. На́до бы́ло обходи́ть полыньи́, перебира́ться, по сло́женным вме́сте шеста́м, че́рез тре́щины. Мать моя́ нигде́ не хоте́ла сесть на чума́н, и то́лько тогда́, когда́ приблизи́лись к противополо́жной стороне́, и доро́га пошла́ во́зле са́мого бе́рега, по ме́лкому ме́сту, когда́ вся опа́сность минова́ла, она́ почу́вствовала сла́бость. Сейча́с постла́ли на чума́н мехово́е одея́ло, положи́ли поду́шки: мать легла́ на него́, как на посте́ль, и почти́ лиши́лась чувств. В тако́м положе́нии дотащи́ли её до ямско́го двора́ в Шура́не.

Мать моя́ дала́ сто рубле́й свои́м провожа́тым, т.-е. полови́ну свои́х де́нег; но че́стные лю́ди не захоте́ли воспо́льзоваться; они́ взя́ли по си́ненькой (по пяти́ рубле́й ассигна́циями) на бра́та. С изумле́нием слу́шая из'явле́ние горя́чей благода́рности и благослове́ния моей ма́тери, они́ сказа́ли е́й на проща́нье: „Да́й вам Бог благополу́чно дое́хать“ и неме́дленно отпра́вились домо́й, потому́ что ме́шкать бы́ло не́когда: река́ прошла́ на друго́й день.

С. Т. Акса́ков.

27. Прыжо́к.

Оди́н кора́бль обошёл вокру́г све́та и возвраща́лся домо́й. Была́ ти́хая пого́да, весь наро́д был на па́лубе. Посреди́ наро́да верте́лась небольша́я обезья́на и забавля́ла всех. Обезья́на э́та ко́рчилась, пры́гала, де́лала смешны́е ро́жи, передра́знивала люде́й, и ви́дно бы́ло—она́ зна́ла, что е́ю забавля́ются, и оттого́ ещё бо́льше расходи́лась.

Она́ подпрыгну́ла к 12-ле́тнему ма́льчику, сы́ну капита́на корабля́, сорвала́ с его́ головы́ шля́пу, наде́ла её и жи́во взобрала́сь на ма́чту. Все засмея́лись, а ма́льчик оста́лся без шля́пы и сам не знал, смея́ться ли ему́, и́ли пла́кать.

Обезья́на се́ла на пе́рвой перекла́дине ма́чты, сняла́ шля́пу и ста́ла зуба́ми и ла́пами рвать её. Она́ как бу́дто дразни́ла ма́льчика и де́лала ему́ ро́жи. Ма́льчик погрози́л ей и кри́кнул на неё, но она́ ещё зле́е рвала́ шля́пу. Матро́сы гро́мче ста́ли смея́ться, а ма́льчик покрасне́л, ски́нул ку́ртку и бро́сился за обезья́ной на ма́чту. В одну́ мину́ту он взобра́лся по верёвке на пе́рвую перекла́дину; но обезья́на ещё ло́вче и быстре́е его взобрала́сь ещё вы́ше.

— Так не уйдёшь же ты от меня́!—закрича́л ма́льчик и поле́з вы́ше.

Обезья́на опя́ть подмани́ла его́, поле́зла ещё вы́ше, но ма́льчика уже́ разобра́л задо́р, и он не отстава́л. Так обезья́на и ма́льчик в одну́ мину́ту добрали́сь до са́мого ве́рха. На са́мом верху́ обезья́на вы́тянулась во всю длину́, зацепи́лась за́дней

рукóй за верёвку, повéсила шля́пу на кра́й послéдней перекла́дины, а сама́ взобрала́сь на маку́шку ма́чты и оттýда кóрчилась, покáзывала зу́бы и ра́довалась. От ма́чты до конца́ перекла́дины, где висéла шля́па, бы́ло арши́на два, так что доста́ть её нельзя́ бы́ло ина́че, как вы́пустив из рук верёвку и ма́чту.

Но ма́льчик óчень раззадóрился. Он брóсил ма́чту и ступи́л на перекла́дину. На па́лубе все смотрéли и смея́лись тому́, что выдéлывала обезья́на и капита́нский сын, но как уви́дели, что он пусти́л верёвку и ступи́л на перекла́дину, пока́чивая рука́ми,—все за́мерли от стра́ха.

Стóило ему́ тóлько оступи́ться, и он бы вдрéбезги разби́лся о па́лубу. Да éсли б да́же он и не оступи́лся, а дошёл до кра́я перекла́дины и взял шля́пу, то трýдно бы́ло бы ему́ поверну́ться и дойти́ наза́д до ма́чты. Все мóлча смотрéли на негó и жда́ли, что бу́дет. Вдру́г в нарóде ктó-то а́хнул от стра́ха. Ма́льчик от э́того кри́ка опóмнился, гляну́л вниз и зашата́лся. В э́то врéмя капита́н корабля́, отéц ма́льчика, вы́шел из каю́ты. Он нёс ружьё, чтóбы стреля́ть ча́ек. Он увида́л сы́на на ма́чте и тóтчас же прицéлился в негó и закрича́л: „В вóду! Пры́гай сейча́с в вóду! Застрелю́!“

Ма́льчик шата́лся, но не понима́л. „Пры́гай, и́ли застрелю́... Раз, два“!... и как тóлько отéц кри́кнул „три“,—ма́льчик размахну́лся головóй вниз и прыгну́л.

Тóчно пу́шечное ядрó шлёпнуло тéло ма́льчика в мóре, и не успéли вóлны закры́ть егó, как ужé 20 молодцóв—матросóв спрыгну́ли с корабля́ в мóре. Секу́нд черéз 40 (они́ дóлги показа́лись всем) вы́нырнуло тéло ма́льчика. Егó схвати́ли и вы́тащили на кора́бль. Чéрез нéсколько мину́т у негó и́зо рта и из нóса полила́сь вода́, и он стал дыша́ть. Когда́ капита́н уви́дел э́то, он вдруг закрича́л, как бу́дто егó чтó-то души́ло, и убежа́л к себé в каю́ту, чтóбы никтó егó не вида́л, как он пла́чет.

---

28. Мужи́к Марéй.

Мне припóмнился а́вгуст мéсяц в на́шей дерéвне; день сухóй и я́сный, но нéсколько холóдный и вéтреный; лéто на исхóде, скóро на́до éхать в Москву́, и мне так жа́лко покида́ть дерéвню. Я прошёл за гу́мна и, спусти́вшись в овра́г, подня́лся в густóй куста́рник. И вот я заби́лся в кусты́ и слы́шу, как недалекó, шага́х в тридцати́, на поля́не, одинóко па́шет мужи́к. Я зна́ю, что он па́шет кру́то в гóру, и лóшадь идёт тру́дно, и до меня́ и́зредка долета́ет егó óкрик: „Ну-ну!“ Я почти́ всех на́ших мужи-

ко́в зна́ю, но не зна́ю, кото́рый э́то тепе́рь па́шет, да мне и всё равно́, я весь погружён в моё де́ло, я то́же за́нят: я выла́мываю себе́ оре́ховый хлыст. Занима́ют меня́ то́же бука́шки и жучки́, я их собира́ю; есть о́чень наря́дные; люблю́ я то́же ма́леньких, прово́рных, кра́сно-жёлтых я́щериц, с чёрными пя́тнышками, но змее́к бою́сь. Грибо́в тут ма́ло; за гриба́ми на́до итти́ в березня́к, и я собира́юсь отпра́виться. И ничего́ в жи́зни я так не люби́л, как лес, с его́ гриба́ми и ди́кими я́годами, с его́ бука́шками и пти́чками.

Вдруг среди́ глубо́кой тишины́ я я́сно и отчётливо услы́шал крик: „Волк бежи́т!“ Я вскри́кнул и, вне себя́ от испу́га, вы́бежал на поля́ну пря́мо на па́шущего мужика́. Это был мужи́к наш, Маре́й. Не зна́ю, есть ли тако́е и́мя, но его́ все зва́ли Маре́ем,—мужи́к лет пяти́десяти, пло́тный, дово́льно ро́слый, с си́льною про́седью, в тёмно-ру́сой, окла́дистой бороде́. Я знал его́, но до того́ никогда́ почти́ не случа́лось говори́ть с ним. Он да́же останови́л кобылёнку, заслы́шав крик мо́й, и когда́ я, разбежа́вшись, уцепи́лся одно́й руко́й за его́ со́ху, а друго́й—за его́ рука́в, то он разгляде́л мо́й испу́г.

— Волк бежи́т!—прокрича́л я, задыха́ясь.

Он вски́нул го́лову и нево́льно огляде́лся круго́м, на мгнове́нье почти́ мне пове́рив.

— Где волк?

— Закрича́л... Кто-то закрича́л сейча́с: „Волк бежи́т!“—пролепета́л я.

— Что ты, что ты? Како́й волк! Помере́щилось, вишь! Како́му тут во́лку быть!—бормота́л он, ободря́я меня́.

Но я весь трясся́ и ещё кре́пче уцепи́лся за его́ зипу́н и, должно́-быть, был о́чень бле́ден. Он смотре́л на меня́ с беспоко́йной улы́бкой, ви́димо боя́сь и трево́жась за меня́.

— Ишь, ведь, испужа́лся. Ай-ай—кача́л он голово́й.—По́лно, родно́й! Ишь, мале́ц!

Он протяну́л ру́ку и вдруг погла́дил меня́ по щеке́.

— Ну, по́лно же, Христо́с с тобо́ю...

Углы́ губ мои́х вздра́гивали, и, ка́жется, э́то осо́бенно его́ порази́ло. Он протяну́л сво́й то́лстый, запа́чканный в земле́, па́лец и тихо́нько дотро́нулся до вспры́гивающих мои́х губ.

— Ишь ведь...—улыбну́лся он мне како́й-то матери́нской улы́бкой.—Го́споди, да что э́то!

„Я по́нял, наконе́ц, что во́лка нет и что мне крик: „Волк бе́жит!“ помере́щился.

Ѳ. М. Достое́вский.

---

29. Щи.

У ба́бы-вдовы́ у́мер её еди́нственный двадцатиле́тний сын, пе́рвый на селе́ рабо́тник. Ба́рыня, поме́щица того́ са́мого села́, узна́в о го́ре ба́бы, пошла́ навести́ть её в са́мый день по́хорон. Она́ заста́ла её до́ма. Сто́я посреди́ избы́, пе́ред столо́м, она́, не спеша́, ро́вным движе́нием пра́вой руки́ (ле́вая висе́ла пле́тью), че́рпала пусты́е щи со дна закопте́лого горшка́ и глота́ла ло́жку за ло́жкой. Лицо́ ба́бы осу́нулось и потемне́ло; глаза́ покрасне́ли и опу́хли... но она́ держа́лась пря́мо и и́стово, как в це́ркви. „Го́споди“! поду́мала ба́рыня. Она́ мо́жет есть в таку́ю мину́ту... каки́е, одна́ко, у них у всех гру́бые чу́вства!“ И вспо́мнила тут ба́рыня, как, потеря́в не́сколько лет тому́ наза́д девятиме́сячную дочь, она́ с горя́ отказа́лась наня́ть прекра́сную да́чу под Петербу́ргом и прожи́ла це́лое ле́то в го́роде!—А ба́ба продолжа́ла хлеба́ть щи. Ба́рыня не вы́терпела, наконе́ц.—Татья́на!—промо́лвила она́.—Поми́луй! Я удивля́юсь! Неуже́ли ты своего́ сы́на не люби́ла? Как у тебя́ не пропа́л аппети́т? Как мо́жешь ты́ есть э́ти щи!—Ва́ся мо́й по́мер,—ти́хо проговори́ла ба́ба, и наболе́вшие слёзы сно́ва побежа́ли по её впа́лым щека́м.—Зна́чит, и мо́й пришёл коне́ц: с живо́й с меня́ сня́ли го́лову. А щам не пропада́ть же: ведь они́ посолёные.—Ба́рыня то́лько плеча́ми пожа́ла и по́шла вон. Ей-то со́ль достава́лась дёшево.

И. С. Турге́нев.

---

30. Гера́сим и Муму́.

Де́ло бы́ло к ве́черу. Гера́сим шёл вдоль ре́чки и гляде́л на во́ду. Вдруг ему́ показа́лось—что-то бара́хтается в ти́не у са́мого бе́рега. Он нагну́лся и уви́дел небольшо́го щенка́, бе́лого, с чёрными пя́тнами, кото́рый, несмотря́ на все свои́ стара́ния, ника́к не мог вы́лезть из воды́, би́лся, скользи́л и дрожа́л всем свои́м мо́креньким и ху́деньким те́лом. Гера́сим погляде́л на несча́стную собачёнку, подхвати́л её одно́й руко́й, су́нул к себе́ за па́зуху и пусти́лся больши́ми шага́ми домо́й. Он вошёл в свою́ камо́рку, уложи́л спасённого щенка́ на крова́ти, прикры́л его́ тяжёлым армяко́м, сбе́гал сперва́ в коню́шню за соло́мой, пото́м в ку́хню за ча́шечкой молока́. Осторо́жно отки́нув армя́к и разостла́в соло́му, поста́вил он молоко́ на крова́ть.

Бе́дной собачёнке бы́ло всего́ неде́ли три, глаза́ у неё проре́зались неда́вно; оди́н глаз да́же каза́лся немно́го бо́льше друго́го; она́ ещё не уме́ла пить из ча́шечки и то́лько дрожа́ла и щу́рилась.

Гера́сим взял его́ легóнько двумя́ пáльцами за гóлову и пригну́л её мóрдочку к молоку́. Собáчка вдруг началá пить с жáдностью, фы́ркая, трясясь и захлёбываясь. Герáсим всю ночь вози́лся с ней, уклáдывал её, обтирáл, и заснул, наконéц, сам вóзле неё каки́м-то рáдостным сном.

Он стал усéрдно ухáживать за своéй питóмицей. Пéрвое врéмя онá былá óчень слабá, тщеду́шна и собóй некраси́ва, но понемнóгу спрáвилась и вы́ровнялась, а мéсяцев черéз вóсемь, благодаря́ неусы́пным попечéниям Герáсима, преврати́лась в óчень лáдную собáчку испáнской порóды, с дли́нными ушáми, пуши́стым хвостóм в ви́де трубы́ и больши́ми, вырази́тельными глазáми. Онá си́льно привязáлась к Герáсиму и не отставáла от негó ни на шаг, всё ходи́ла за ним, повиливая хвóстиком. Он и кли́чку дал ей; он нáзвал её Муму́. Все лю́ди её в дóме полюби́ли и дáже кли́кали Муму́ней. Онá былá чрезвычáйно умнá, ко всем ласкáлась, но люби́ла одногó Герáсима; Герáсим сам люби́л её без пáмяти.

Онá буди́ла его́ по утрáм, дёргая его́ зá полу, приводи́ла к нему́ за пóвод стáрую водовóзку, с котóрой жилá в большóй дру́жбе, с вáжностью на лицé отправля́лась вмéсте с ним на реку́, карау́лила егó мётлы и лопáты, никогó не, допускáла к егó камóрке. Он нарóчно для неё прорéзал отвéрстие в своéй двéри, и онá как бу́дто чу́вствовала, что тóлько в Герáсимовой камóрке онá былá пóлная хозя́йка, и потому́, войдя́ в неё, тóтчас с довóльным ви́дом вскáкивала на кровáть. Нóчью онá не спалá вóвсе, но не лáяла без разбóру, как инáя глу́пая дворня́жка, котóрая, си́дя на зáдних лáпах, подня́в мóрду и зажму́рив глазá, лáет прóсто от ску́ки, так, на звёзды, и обыкновéнно три рáза сря́ду—нет, тóнкий голосóк Муму́ никогдá не раздавáлся дáром: ли́бо чужóй бли́зко подходи́л к забóру, ли́бо где-нибу́дь поднимáлся подозри́тельный шум или шóрох... слóвом, онá сторожи́ла отли́чно. В госпóдский дом Муму́ не ходи́ла, и когдá Герáсим носи́л в кóмнаты дровá, всегдá оставáлась назади́ и нетерпели́во егó выжидáла у крыльцá, навостри́в у́ши и поворáчивая гóлову то напрáво, то вдруг налéво, при малéйшем сту́ке за дверя́ми...

И. С. Тургéнев.

---

31. Ось и чекá.

Ехал извóзчик Семён с клáдью, глухóй дорóгой, по гóлому, рóвному степнóму мéсту. Вдруг у негó задыми́лась ось, а до дерéвни далекó. Как он ни би́лся, что ни дéлал—нет, ничéм не уймёшь; кладь тяжёлая, а кóли уж раз загорéлась ось, то из-

вѣстно, что хоть брось сейча́с. Зальё́т, засы́плет землё́ю, бьё́тся оди́н, как ры́ба об лё́д; наконе́ц, спра́вился ко́е-как, с вё́рсту проѣ́хал, опя́ть сто́й, опя́ть то́ же.

Наезжа́ет сза́ди, шажко́м, друго́й изво́зчик, Архи́п, по пути́. Семё́н огляну́лся, а у того́ ось запа́сная сбо́ку подвя́зана. Крѣ́пок за́дним умо́м ру́сский человѣ́к:—догада́лся Семё́н наш, что на́до бы́ло бы и ему́ вози́ть запа́сную ось. Обра́довавшись нахо́дке, снима́ет он ша́пку, кла́няется това́рищу и про́сит: „Уступи́, брат, ось запа́сную; сдѣ́лай ми́лость, вот и де́ньги сейча́с отда́м; что хо́чешь бери́, то́лько уступи́“. Тот подошё́л, поглядѣ́л: „Да“, говори́т, „нела́дно у тебя́ дѣ́ло, пожа́луй, возьми́, коли́ хо́чешь, за два целко́вых“.

У бѣ́дного Семё́на во́лос ды́бом стал, и о́бе ру́ки полѣ́зли в заты́лок. „Поми́луй“, говори́т, „да она́, где хо́чешь возьми́ её, бо́льше полти́нника не сто́ит!“—За́ морем телу́шка—полу́шка,—сказа́л Архи́п,—да рубль перево́зу. Поди́ да купи́, коли́ нашё́л за полти́нник“.—А сам было́ и поѣ́хал да́льше. Семё́н за ним, и про́сит, и кла́няется—нет, два целко́вых да и по́лно. Ки́нул мужи́к наш ша́пку о́земь,—так ему́ бы́ло жаль де́нег,—да дѣ́лать не́чего, не ночева́ть тут; доста́л рублё́вики и о́тдал. „На“, говори́т, „земля́к, госпо́дь с тобо́ю, да́й тебѣ́ бо́г разжи́ться с лё́гкой ру́ки этими рубля́ми“—„Не вида́л я твои́х рубле́й,—мо́лвил тот:—не́што я тебя́ нево́лю что́ ли?—На́, возьми́, да пода́й сюда́ ось; я при своё́м бу́ду, а ты при своё́м.“—Нет, земля́к, не ты нево́лишь, бѣда́ нево́лит; быть так, ступа́й с бо́гом: спаси́бо, что уступи́л, а то пролежа́л бы я здѣсь су́тки. Пособи́, пожа́луйста, подня́ть передо́к да подвести́ ось“. Тот пособи́л; спра́вились и поѣ́хали вмѣ́сте.

То́лько что тро́нулись, Архи́п хвать, чеки́ нет на за́дней о́си; колесо́ скати́лось, телѣ́га лежи́т на боку́.—„Стой, кричи́т он Семё́ну,—стой, брат! Как тут быть? Чеки́-то у меня́ запа́сной нет, а тут вокру́г ни пру́та; да во́т что, земля́к, погоди́, мы спра́вимся. У меня́ топо́р есть, пода́й—ка, пожа́луйста, обло́мок о́си твое́й, ведь уж она́ у тебя́ никуда́ не пойдё́т—я как раз вы́тешу чеку́, да и поѣ́дем вмѣ́сте“.—Пожа́луй, говори́т Семё́н, возьми́, то́лько ты мнѣ за неё́ три целко́вых пода́й!—„С ума́ что́-ли ты, брат, сошё́л? Три целко́вых за чеку́, за обло́мок о́си? Да она́ и гроша́ не сто́ит!“..—Во́льному во́ля—сказа́л Семё́н, при тебѣ́ де́ньги, при мнѣ това́р. Поди́, мо́жет ста́ться, где ку́пишь и за грош“. Уда́рил Архи́п рука́ми о́б полы: хоть пропада́й; не велика́ шту́ка чека́, а без неё́ не уѣ́дешь: ли́бо сядь да сиди́, ли́бо пода́й три целко́вых. Доста́л он мошну́, вы́нул де́ньги, чуть не запла́кал и о́тдал Семё́ну.

В. И. Даль.

---

32. Шко́ла в башки́рской дере́вне.

Наступи́ла настоя́щая весна́. Верну́лись в дере́вню все мужчи́ны—башки́ры. Раз по у́лице е́дет ру́сская теле́га, а в теле́ге сиди́т кака́я-то ба́рыня. Вся дере́вня встрепену́лась. Никто́ обыкнове́нно не заезжа́ет в э́ту забы́тую бо́гом башки́рскую глушь, да́же нача́льство об‘езжа́ло ми́мо, а тут е́дет теле́га, и в теле́ге сиди́т ба́рыня. Ма́льчики се́йчас окружи́ли её, закрича́ли благи́м ма́том:

— Кара́-ханы́м! Кара́-ханы́м!

Башки́рские ма́льчики ещё в пе́рвый раз уви́дели же́нщину, оде́тую во всё чёрное. Башки́рки носи́ли я́ркие си́тцы и́ли оста́вшиеся от них тряпи́цы.

Прие́хавшая ба́рыня спроси́ла ста́росту, и теле́га останови́лась у башки́рской избы́ без кры́ши, с одни́м око́шком и деревя́нной дымово́й трубо́й. Ба́рыня удиви́лась, что така́я изба́ у ста́росты, а приве́зший её ру́сский мужичёк об‘ясни́л:

— Все башки́ры так живу́т, ба́рыня.... Ни кола́, ни двора́. Ещё бо́лее удиви́лась Кара́-ханы́м, когда́ узна́ла, что во всей дере́вне нет ни хле́ба, ни молока́, ни ку́рицы. Всё пришло́сь выпра́шивать у муллы́. Но башки́ры удиви́лись не ме́ньше, когда узна́ли, что Кара́-ханы́м прие́хала устра́ивать у них шко́лу. Зачём им ру́сская шко́ла? А пото́м, чему́ мо́жет научи́ть же́нщина? В тата́рских шко́лах у́чат му́ллы.

Башки́ры до́лго толкова́ли, шуме́ли, крича́ли и пришли́, наконе́ц, к мулле́, чтобы посове́товаться.

— У неё есть бума́га,—об‘ясни́л мулла́.—Пусть открыва́ет... То́лько ходи́ть никто́ в ру́сскую шко́лу не обя́зан. Кто хо́чет, тот и пойдёт. Да и учи́ть она́ бу́дет одни́х девчёнок.

Кара́-ханы́м обошла́ все башки́рские и́збы. Чем бли́же она́ знако́милась с башки́рской жи́знью, тем бо́льше удивля́лась, как могли́ жить лю́ди при тако́й невозмо́жной обстано́вке. Вме́сто изб стоя́ли каки́е-то лачу́ги, почти́ все без кры́ш, с деревя́нными тру́бами и без вся́ких надво́рных постро́ек. О каки́х-нибу́дь огоро́дах не́ было и поми́ну. В и́збах цари́ла стра́шная пустота́. Оде́ты бы́ли ко́е-как то́лько больши́е башки́ры, а башкиря́та до двена́дцати лет бе́гали го́лыми. Эти несча́стные де́ти доводи́ли её до слёз свои́ми про́сьбами хле́ба и голо́дными слеза́ми, то́чно она́ попа́ла в како́е-то ца́рство сме́рти. Что бы́ло с не́й с‘естно́го, ро́здано бы́ло в тот же день.

А ско́лько лежа́ло по избу́шкам больны́х!.. Кара́-ханы́м ходи́ла и что-то запи́сывала.

Осе́нью в дере́вне была́ откры́та шко́ла для де́вочек-башки́рок. Снача́ла поступи́ли всего́ две де́вочки, кото́рых привели́

ма́тери го́лыми. Когда́ Кара́-ханы́м оде́ла их и накорми́ла, вся дере́вня всполоши́лась. На сле́дующий день шко́ла находи́лась в оса́дном положе́нии. Сра́зу бы́ло при́нято три́дцать де́вочек, бо́льше не хвата́ло ме́ста. Башки́рки-ма́тери тащи́ли грудны́х ребя́т и не могли́ поня́ть, почему́ их не беру́т в шко́лу. Башкиря́та-ма́льчики то́же негодова́ли. Чуть не вы́шел настоя́щий бунт. Проле́з оди́н Ахме́тка, вы́звавшийся носи́ть во́ду, всё убира́ть и служи́ть сто́рожем. Пра́вда, что он в пе́рвый же день укра́л у Кара́-ханы́м но́жницы, рези́новые кало́ши и зо́нтик; но она́ сде́лала вид, что не заме́тила э́того, и сказа́ла Ахме́тке:

— Я не могу́ да́же поду́мать, что э́то сде́лал ты, Ахме́т.

— Не я, Кара́-ханы́м... Это сде́лал злой челове́к.

— Непреме́нно злой... Если ты когда́-нибу́дь узна́ешь, кто э́тот злой челове́к, пожа́луйста, ничего́ не говори́ мне. По́нял? Мне бу́дет бо́льно его́ ви́деть...

На сле́дующий день у Кара́-ханы́м пропа́ла записна́я кни́жка, ча́йная ча́шка и доро́жная ко́жаная су́мка.

— Ахме́т, скажи́ зло́му челове́ку, что я на него́ не сержу́сь, а мне его́ жаль,— сказа́ла учи́тельница.—Его́ бу́дет му́чить со́весть... Я прие́хала сюда́ де́лать добро́, а зло́й челове́к меня́ огорча́ет.

— Это не я, Кара́-ханы́м,—отве́тил Ахме́тка.—Я бу́ду карау́лить зло́го челове́ка...

— Сильне́е карау́ль, Ахме́т, а когда́ его́ узна́ешь,—ничего́ не говори́ мне. Я совсе́м не жела́ю знать, как его́ зову́т.

Ахме́тка реши́тельно не знал, что ему́ и ду́мать о Кара́-ханы́м. Очеви́дно, она́ ничего́ не понима́ла. Он продолжа́л красть всё, что ни попада́лось ему́ под ру́ки, и лгал в глаза́ учи́тельнице без зазре́ния со́вести. Раз он попа́лся с поли́чным, но и тут Кара́-ханы́м ниче́го не сказа́ла ему́.

Ба́бушка Тукта́й то́же ходи́ла в шко́лу посмотре́ть, что там де́лается, и не ма́ло диви́лась. Де́вочки учи́лись ру́сской гра́моте и ра́зному ремеслу́: ши́ли, вяза́ли.

— Отку́да ты, Кара́-ханы́м? спра́шивала стару́ха.

— Я издалёка ба́бушка...

— Почему́ ты к нам пришла́? Бе́дных и голо́дных везде́ мно́го...

— Пришла́ я к вам потому́, что други́м бе́дным кто-нибу́дь помогае́т, а вам никто́ не помога́ет.

Ба́бушка Тукта́й ничего́ не понима́ла. Кара́-ханы́м посади́ла её за стол и пои́ла ча́ем.

— Не понима́ешь, ба́бушка?

— Нет, не понима́ю...

— Я тебе́ об'ясню́... У меня́ бы́ло большо́е го́ре. У меня́ бы́ло дво́е дете́й, и бог их взял к себе́.

— О-о!—жале́ла стару́ха башки́рка.—И на́ших мала́ек то́же бог берёт...

— Да. И я поду́мала, что бо́льше не сто́ит жить, ба́бушка, что не́ для чего́ жить, что лу́чше и само́й умере́ть. А пото́м я поёхала к вам и ви́жу, что я ещё нужна́...

Ба́бушка Тукта́й всё-таки́ не понима́ла.

И вся дере́вня то́же не понима́ла, что тако́е Кара́-ханы́м, и что́ ей за охо́та учи́ть, одева́ть и корми́ть башки́рских девчо́нок. Никогда́ ещё ничего́ подо́бного не быва́ло.

Помеще́ние для шко́лы бы́ло о́чень пло́хо, и Кара́-ханы́м зимо́й вы́строила но́вую большу́ю шко́лу с настоя́щей кирпи́чной трубо́й и настоя́щими о́кнами. Кры́ша была́ устро́ена желе́зная, двор обнесён высо́ким забо́ром, на дворе́ поста́влены деревя́нные слу́жбы, а за дворо́м огоро́жено большо́е ме́сто для огоро́да. Башки́ры собира́лись смотре́ть на э́ту постро́йку ка́ждый день и диви́лись.

— Мно́го де́нег у Кара́-ханы́м...—толкова́ли они́ в изумле́нии.

Кара́-ханы́м де́лала настоя́щие чудеса́. Во-пе́рвых, ей из го́рода привели́ двух коро́в, трёх лошаде́й, а пото́м она́ накупи́ла в ру́сских деревня́х ове́ц, кур, у́ток, и гусе́й. Во-вторы́х, Кара́-ханы́м завела́ большо́й огоро́д. Под её наблюде́нием всю вёсну рабо́тали учени́цы. Оне́ и гря́ды де́лали, и ра́зный о́вощ сажа́ли и полива́ли его́. В башки́рской дере́вне не́ было ни одного́ огоро́да, и башки́рки не име́ли поня́тия ни о карто́феле, ни о лу́ке, ни о капу́сте, ни об огурца́х. Башки́рам ещё случа́лось есть о́вощи в ру́сских деревня́х, а башки́рки да́льше свое́й дере́вни не быва́ли. В ви́де о́пыта Кара́-ханы́м арендова́ла у башки́р де́сять десяти́н земли́ и сде́лала про́бный посе́в пшени́цы, ржи, овса́, ячменя́ и про́са.

Рабо́тал на по́ле, гла́вным о́бразом, её ку́чер, ру́сский, а в по́мощь ему́ Кара́-ханы́м нанима́ла подро́стков.—Ма́льчики нау́чатся и тогда́ свою́ зе́млю бу́дут паха́ть.—Вся дере́вня це́лое ле́то следи́ла за Кара́-ханы́м и оконча́тельно удиви́лась, когда о́сенью у неё бы́ло уже́ всё своё: бо́льше деся́тка ягня́т, молоде́нькая тёлочка, деся́тка три молоды́х кур, гу́си, у́тки. А ско́лько с огоро́да бы́ло со́брано всевозмо́жных о́вощей, а с поле́й—хле́ба, овса́ и про́са! Без ма́лого шко́ла была́ почти́ обеспе́чена свои́м трудо́м, и наступи́вшая зима́ была́ не страшна́. И сама́ Кара́-ханы́м повеселе́ла и то́чно помолоде́ла. Она́ всё бо́льше и бо́льше убежда́лась, что то́лько одна́ шко́ла мо́жет научи́ть башки́р труду́, и что они́ не бу́дут вымира́ть от го́лода, когда́ нау́чатся рабо́тать. Из ма́леньких башки́рок вы́растут больши́е, а из ма́льчи-

ков—настоящие башкиры, которые не будут бросать свои семьи по зимам.

Прошло́ три го́да. Шко́ла продолжа́ла существова́ть. Хозя́йство всё увели́чивалось. Да и в башки́рских дома́х кое́-где появи́лись пе́рвые при́знаки хозя́йства: где ма́ленький огоро́д, где ку́ры, где о́вцы. Не вдруг всё де́лалось, а шло помале́ньку.

Ма́мин-Сибиря́к.

---

33. От'е́зд Бу́льбы с сыновья́ми в Сечь.

„Ну, де́ти, тепе́рь на́добно спать, а за́втра бу́дем де́лать то, что бог даст. Да не стели́ нам посте́ль! Нам не нужна́ посте́ль: мы бу́дем спать на дворе́".

Ночь ещё то́лько что обняла́ не́бо; но Бу́льба всегда́ ложи́лся ра́но. Он вско́ре захрапе́л, и за ним после́довал весь двор. Всё, что ни лежа́ло в ра́зных его́ угла́х, захрапе́ло и запе́ло. Одна́ бе́дная мать не спала́. Она прини́кла к изголо́вью дороги́х сынове́й свои́х, лежа́вших ря́дом. Она́ расчёсывала гре́бнем их молоды́е, небре́жно всклоченные, ку́дри и сма́чивала их слеза́ми. Она́ гляде́ла на них всё, гляде́ла все́ми чу́вствами, вся преврати́лась в одно́ зре́ние, и не могла́ нагляде́ться. Она́ вскорми́ла их со́бственною гру́дью; она́ возрасти́ла, взлеле́яла их—и то́лько на оди́н миг ви́дит их пе́ред собо́й. „Сыны́ мои́, сыны́ мои́ ми́лые! Что бу́дет с ва́ми, что́ ждёт вас? Хоть бы неде́льку мне погляде́ть на вас!" говори́ла она́, и слёзы останови́лись в морщи́нах, измени́вших её когда́-то прекра́сное лицо́.

Вся любо́вь, все́ чу́вства, всё, что есть не́жного в же́нщине, —всё обрати́лось у ней в одно́ матери́нское чу́вство. Она́ с жа́ром, с стра́стью, со слеза́ми, как степна́я ча́йка, вила́сь над детьми́ свои́ми. Её сынове́й, её ми́лых сынове́й беру́т от неё; беру́т для того́, что́бы не уви́деть их никогда́. Кто зна́ет? Мо́жет, быть, при пе́рвой би́тве тата́рин сру́бит им го́ловы, и она́ не бу́дет знать, где лежа́т бро́шенные тела́ их, кото́рые расклюёт хи́щная подоро́жная пти́ца, и за ка́ждый кусо́чек кото́рых, за ка́ждую ка́плю кро́ви она́ отдала́ бы всё! Рыда́я, гляде́ла она́ им в о́чи и ду́мала: „Аве́сь-ли́бо Бу́льба, просну́вшись, отсро́чит денька́ на́ два от'е́зд!

Ме́сяц с вышины́ не́ба давно́ уже́ озари́л весь двор, напо́лненный спя́щими. Она́ всё сиде́ла в голова́х ми́лых сынове́й свои́х, ни на мину́ту не своди́ла с них глаз и не ду́мала о сне. Она́ просиде́ла до са́мого све́та, во́все не была́ утомлена́ и вну́тренно жела́ла, что́бы ночь протяну́лась как мо́жно до́льше. Со сте́ни

понеслóсь звóнкое ржáние жеребёнка. Крáсные пóлосы я́сно сверкнýли на нéбе.

Бýльба вдруг проснýлся и вскочи́л. Он óчень хорошó пóмнил всё, что прикáзывал вчерá.

— Ну, хлóпцы, пóлно спать! порá! порá! Напóйте конéй! Живée, старá, готóвь нам есть, потомý что путь вели́кий лежи́т!

Бéдная старýшка, лишённая послéдней надéжды, уны́ло поплелáсь в хáту. Междý тем как онá со слезáми готóвила всё, что нýжно бы́ло к зáвтраку, Бýльба раздавáл свои́ приказáния, вози́лся на конюшне и сам выбирáл для детéй свои́х лýчшие убрáнства. Бурсаки́ вдруг преобрази́лись: на них яви́лись, вмéсто прéжних запáчканных сапогóв, сафья́нные, крáсные, с серéбряными подкóвами; шаровáры, ширинóю в Чёрное мóре, с ты́сячью склáдок и со сбóрами, перетянýлись золоты́м шнýром; казаки́н áлого цвéта, сукнá я́ркого, как огóнь, опоя́сался узóрчатым пóясом; чекáнные турéцкие пистолéты бы́ли задви́нуты зá пояс; сáбля бря́кала по ногáм их; они бы́ли хороши́ под чёрными барáньими шáпками с золоты́м вéрхом. Бéдная мать! Онá, как уви́дела их, и слóва не моглá промóлвить, и слёзы останови́лись в глазáх её.

— Ну, сыны́, всё готóво, нéчего мéшкать,—произнёс, наконéц, Бýльба.—Тепéрь благослови́, мать, детéй свои́х. Моли́ бóга, чтóбы они́ воевáли хрáбро, защищáли бы всегдá честь ры́царскую, чтóбы стоя́ли всегдá за вéру Христóву, а не то пусть лýчше пропадýт, чтóбы и дýху их нé было на свéте. Подойди́те, дéти, к мáтери. Моли́тва матери́нская и на водé и на землé спасáет.

Мать, слáбая, как мать, обнялá их, вы́нула две небольши́е икóны, надéла им, рыдáя, на шéю.

— Пусть храни́т вас... Бóжия мáтерь... не забывáйте, сынки́, мать вáшу, пришли́те хоть вéсточку о себé...

Дáлее онá не моглá продолжáть.

— Ну, пойдём, дéти,—сказáл Бýльба.

У крыльцá стоя́ли осéдланные кóни. Бýльба вскочи́л на своегó Чóрта, котóрый бéшено отшатнýлся, почýвствовав на себé двадцатипудóвое брéмя, потомý что Бýльба был чрезвычáйно тяжёл и толст. Когдá уви́дела мать, что ужé и сыны́ её сéли на конéй, онá ки́нулась к меньшóму, у котóраго в чертáх лицá выражалóсь бóлее какóй-то нéжности; онá схвати́ла егó за стрéмя; онá прили́пнула к седлý егó и, с отчая́нием во всех чертáх, не выпускáла егó и́з рук свои́х. Два дю́жих казакá взя́ли её бéрежно и унесли́ в хáту. Но когдá вы́ехали они́ за ворóта, онá со всéю лёгкостью ди́кой козы́, несообрáзной её летáм, вы-

бежала за ворóта, с непостижи́мой си́лой останови́ла лóшадь и обнялá одногó из них с какою-то помéшанною, бесчýвственною горя́чностью. Её опя́ть увели́.

Молоды́е казáки éхали смýтно и удéрживали слёзы, боя́сь отцá своегó, котóрый, с своéй стороны́, был нéсколько смущён, хотя́ и старáлся э́того не покáзывать. Они́, проéхавши, огляну́лись назáд. Хýтор их как бýдто ушёл в зéмлю: равни́на, котóрую они́ проéхали, кáжется и́здали горóю, и всё собóю закры́ла. Прощáйте и дéтство, и и́гры, и всё, и всё!

Н. Гóголь.

---

34. Смéрть Тарáса Бýльбы.

Тарáс гуля́л по всéй Пóльше с свои́м полкóм, вы́жег восемнáдцать местéчек, близ сорокá костёлов и ужé доходи́л до Крáкова. Мнóго изби́л он поля́ков, разгрáбил богатéйшие и лýчшие зáмки... „Это вам, врáжьи ля́хи, поми́нки по Остáпе!“ (éго сы́не, замýченном поля́ками) приговáривал тóлько Тарáс...

Шесть днéй уходи́ли казáки просёлочными дорóгами от всех преслéдований; едвá выноси́ли кóни необыкновéнное бéгство и спасáли казáков... Но Потóцкий неутоми́мо преслéдовал их и насти́г на берегý Днестрá, где Бýльба зáнял для рóздыха остáвленную развали́вшуюся крéпость.

Над сáмой крýчей у Днестрá-реки́ виднéлась онá свои́м обóрванным вáлом и свои́ми развали́вшимися остáнками стен. Щéбнем и разби́тым кирпичóм усéяна былá верхýшка утёса, готóвая вся́кую минýту сорвáться и слетéть вниз. Тут-то, с двух сторóн, прилежáщих к пóлю, обступи́л казáков Потóцкий. Четы́ре дня би́лись и борóлись казáки, отбиваясь кирпичáми и камéньями. Но истощи́лись запáсы и си́лы, реши́лся Тарáс проби́ться сквозь ряды́. И проби́лись-было ужé казáки и, можéт быть, ещё раз послужи́ли бы им вéрно бы́стрые кóни, как вдруг, среди́ сáмого бéга, останови́лся Тарáс и кри́кнул: „стóй! вы́пала лю́лька с табакóм,—не хочý, чтóбы и лю́лька достáлась врáжьим ля́хам!“ И нагнýлся стáрый атамáн и стáл оты́скивать в травé своíо лю́льку с табакóм, неотлýчную спýтницу на моря́х и на сýше, и в похóдах и дóма. А тем врéменем набежáла вдруг ватáга и схвати́ла éго под могýчие плéчи. Дви́нул было он всéми члéнами, но ужé не посы́пались на зéмлю, как бывáло прéжде, схвати́вшие егó гайдýки. „Эх, стáрость, стáрость!“ сказáл он, и заплáкал стáрый казáк. Но не стáрость былá винóю: си́ла одолéла си́лу. Мáло не три́дцать человéк пови́сло у негó по рукáм и по ногáм. „Попáлась ворóна!“ кричáли ля́хи. „Тепéрь нýжно тóлько придýмать,

какую бы ему́, собаке, лучшую честь воздать.“ И присудили— сжечь его живого на виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули Тараса железными цепями к древесному стволу; гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костёр. Но не на костёр глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались казаки,— ему с высоты всё было видно, как на ладони. „Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, кричал он, горку, что за лесом: туда не подступят они!“ Но ветер не донёс его слов. „Вот пропадут, пропадут ни за что!“ говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и звучно закричал: „к берегу! к берегу, хлопцы, спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, всё забирайте, чтобы не было погони.“ На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил всё в глазах его...

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли вёслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана. „Прощайте, товарищи! кричал он им сверху: вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что, взяли чортовы ляхи? думаете есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак?

А уже огонь подымался над костром, захватил его ноги и разостлался пламенем по дереву.

Н. Гоголь.

---

35. Песня соловья.

В тесной, крепкой тюрьме большого венгерского города сидел бедный заключённый. Злые люди заковали его в цепи и бросили в тюрьму. В тюрьме было сыро, темно и холодно. Вместо постели у него была мокрая солома. Ему носили только хлеб и воду. Он сидел там много лет, бледный, больной, грустный. Солнце редко светило в его узкое окошко, свежий воздух не проходил в тюрьму. Печально думал он о своих милых родных, о маленьких детях своих; думал, что, может-быть, давно уже все забыли его, считая умершим. Что-то делается на земле, на родине?

Он подошёл к окну́. Был чу́дный ле́тний ве́чер. Со́лнце сади́лось за ле́сом, освеща́я краснова́тым све́том его́ верши́ны; лю́ди шли и е́хали по у́лицам. Тюрьма́ была́ высоко́, и лю́ди каза́лись внизу́ ма́ленькими. Он закрича́л им, но никто́ его́ не услы́шал. В си́нем не́бе лета́ли пти́цы. Пе́ред окно́м ти́хо пролета́л орёл.

Орёл, орёл!—закрича́л ему́ заключённый. Сядь ко мне на окно́, расскажи́, что де́лается на земле́, пропо́й мне пе́сню!— Нет,—отвеча́л орёл,—окно́ твоё о́чень мало́: мне не́где сесть. Я не расскажу́ тебе́, что де́лается на земле́, потому́ что ре́дко спуска́юсь на зе́млю. Я вью гнездо́ своё на высоча́йших ска́лах и ста́рых дуба́х, пода́льше от злых люде́й, чтоб они́ не разори́ли моего́ гнезда́. Я не спою́ тебе́ пе́сни, потому́ что никогда́ не пою́ на земле́. Я поднима́юсь высоко́-высоко́, и мои́ пе́сни слы́шит то́лько ве́чное со́лнце. И могу́чими взма́хами широ́ких кры́льев орёл го́рдо подня́лся к не́бу и скры́лся из глаз.

Ле́бедь, ле́бедь! Расскажи́, что де́лается на земле́, пропо́й мне пе́сню!—Нет, отвеча́л ле́бедь, я не расскажу́, что де́лается на земле́. Я пла́ваю всегда́ на воде́,—чи́стой, прохла́дной воде́, между́ зелёными камыша́ми. Когда́ вода́ ста́нет ро́зовая у́тром, на заре́, я гро́мко кричу́ заре́: здра́вствуй! Я не спою́ тебе́ пе́сни; я спою́ пе́сню, когда́ ста́ну умира́ть...—И ле́бедь по́плыл по во́здуху, блиста́я бе́лыми крыла́ми.

— Воро́бушки, воро́бушки! Ся́дьте на око́шко, расскажи́те, что де́лается на зе́мле! Спо́йте пе́сенку!

— Чили́к, чили́к! Нам не́когда! Нам ещё ну́жно поклева́ть зёрнышек, кото́рые ме́льник нечаянно рассы́пал...

Но вдруг порхну́ла се́ренькая пти́чка, поверте́лась пе́ред окно́м и се́ла на желе́зную решётку.

— Здра́вствуй, соло́вушек! Спаси́бо тебе́, ми́лая пти́чка, что навести́ла меня́! Расскажи́, что де́лается на земле́, спо́й мне пе́сенку!

— Я расскажу́ тебе́, что де́лается на земле́, я спою́ тебе́ пе́сенку,—на́чал соло́вушек.

И полили́сь таки́е зву́ки, что бе́дный заключённый запла́кал от ра́дости, упа́л на соло́му и всё пла́кал и всё слу́шал... Вчера́ у́тром, на заре́,—пел соло́вушек,—бы́ло так свежо́ и прохла́дно! Я прилете́л к твоему́ до́мику, сел на зелёный оре́ховый куст пе́ред раскры́тым око́шком и всё пел и пел. В колыбе́льке спал

твóй малю́тка, он раскры́л свои́ больши́е свётлые глáзки и спрáшивал: „Где пáпа? где пáпа?“ и слу́шал мои́ пéсни... Твои́ родны́е плáчут, вспоминáя о тебé. Они́ тебя́ лю́бят, óчень лю́бят, óчень хотя́т тебя́ уви́деть. Не унывáй! Бог ви́дит, что ты неви́нен, лю́ди отпу́стят тебя́, и ты опя́ть вы́йдешь на вóлю, на свет, на вóздух. И дéти твои́ бу́дут тебя́ ласкáть и целовáть. Бу́дет ти́хий лéтний вéчер, дли́нные тéни потя́нутся от дерéвьев, на сóлнце засверкáют стёкла окóшек; ты бу́дешь на крыльцé расскáзывать дéтям, как ты страдáл. Бу́дешь их учи́ть, чтоб они́, когдá вы́растут, не давáли злым лю́дям дéлать злы́е делá, чтоб они́ не серди́лись на злых людéй, а проси́ли бы бóга, чтóбы все лю́ди люби́ли друг дру́га, как брат брáта... И дéти твои́ послу́шают тебя́. Когдá они́ вы́растут, ты уви́дишь их дóбрыми и чéстными, уви́дишь, как они́ бу́дут помогáть бéдным и несчáстным. Ты бу́дешь жить дóлго, дóлго! Вóлосы твои́ поседéют, но сéрдце бу́дет рáдостно би́ться! И кóгда ты умрёшь, все бу́дут о тебé плáкать и моли́ться, и понесу́т тебя́ на зелёное клáдбище в свётлый сóлнечный день. Над моги́лкой твоéй посáдят рóзовый куст, и я бу́ду по заря́м петь над твоéй моги́лой“...

---

36. Цветóк в тюрьмé.

Вéсело цвéтики в пóле пестрéют; их по ночáм освежáет роса, днём их лучи́ благодáтные грéют, лáсково смóтрят на них небесá. С бáбочкой пёстрой, с гудя́щей пчелóю, с вéтром—им лю́бо вести́ разговóр; вéсело цвéтикам в пóле веснóю, мил им роди́мого пóля простóр!

Вот они́ ви́дят: в окнé, за решёткой, ти́хо качáется блéдный цветóк... Сóлнца не знáя, печáльный и крóткий, вы́рос он в мрáчных стенáх одинóк. Цвéтикам жаль егó, бéдного, стáло, хóром они́ к себé брáта зову́т: „Сóлнце тебя́ никогдá не ласкáло; брось э́ти стéны: зачáхнешь ты тут“.—„Нет,—отвечáл он,—хоть вéсело в пóле, хоть наряжáет вас я́рко веснá, но не зави́дую вáшей я дóле и не поки́ну сырóго окнá. Пы́шно цвети́те! Своéй красотóю рáдуйте, судьбóю я сóлнца лишён и полéй; я бу́ду цвести́ для тогó, кто страдáет. Узника я утешáю оди́н: пусть он, взгляну́в на меня́, вспоминáет зéлень роди́мых доли́н“!

---

37. Две пе́сни.

Уже́ не раз доходи́ли до меня́ слу́хи об Якове Ту́рке, как о лу́чшем певце́ в около́тке, и вдруг мне предста́вился слу́чай услы́шать его́ в состяза́нии с други́м ма́стером (ря́дчиком). Об Якове Ту́рке и ря́дчике не́чего до́лго распространя́ться. Яков, про́званный Ту́рком, потому́ что, действи́тельно, происходи́л от пле́нной турча́нки, был по душе́ худо́жник, во всех смы́слах э́того сло́ва, а по зва́нию—че́рпальщик на бума́жной фа́брике; что же каса́ется до ря́дчика, то он показа́лся мне изворо́тливым и бо́йким городски́м мещани́ном.

Ита́к, ря́дчик вы́ступил вперёд. Го́лос у него́ был дово́льно прия́тный и сла́дкий, хотя́ не́сколько си́плый. До́лго ря́дчик пел, не возбужда́я сли́шком си́льного сочу́вствия в свои́х слу́шателях: ему́ недостава́ло подде́ржки, хо́ра; Никола́й Ива́нович (целова́льник) из-за сто́йки одобри́тельно закача́л голово́й напра́во и нале́во, а у Якова глаза́ так и разгоре́лись, и он весь дрожа́л, как лист, и беспоря́дочно улыба́лся. Ободрённый зна́ками всео́бщего удово́льствия, ря́дчик таки́е на́чал отде́лывать завиту́шки, так защёлкал и забараба́нил языко́м, так неи́стово заигра́л го́рлом, что когда́, наконе́ц, утомлённый, бле́дный и обли́тый горя́чим по́том он пусти́л, переки́нувшись наза́д всем те́лом, после́дний замира́ющий го́лос,—о́бщий сли́тный крик отве́тил ему́ неи́стовым взры́вом.

— Хорошо́ поёшь, брат, хорошо́!—ла́сково заме́тил Никола́й Ива́нович—А тепе́рь за тобо́ю о́чередь, Яша.. Смотри́, не сробе́й. Посмо́трим, кто кого́, посмо́трим.... А хорошо́ поёт ря́дчик, е́й-бо́гу, хорошо́!

— Очень хорошо́,—заме́тила Никола́я Ива́новича жена́ и с улы́бкой погляде́ла на Якова. Яков помолча́л, взгляну́л круго́м и закры́лся руко́й.

Все́ так и впили́сь в него́ глаза́ми, осо́бенно ря́дчик, у кото́рого на лице́, сквозь обы́чную самоуве́ренность и торжество́ успе́ха, проступи́ло нево́льно лёгкое беспоко́йство. Он прислони́лся к стене́ и положи́л под себя́ о́бе ру́ки, но уже́ не болта́л нога́ми. Когда́ же, наконе́ц, Яков откры́л своё лицо́—оно́ бы́ло бле́дно, как у мёртвого; глаза́ едва́ мерца́ли сквозь опу́щенные ресни́цы. Он глубоко́ вздохну́л и запе́л... Пе́рвый звук его́ го́лоса был слаб и неро́вен и, каза́лось, не выходи́л из его́ гру́ди, но принёсся отку́да-то издалёка, сло́вно залете́л случа́йно в ко́мнату. Стра́нно де́йствовал э́тот трепе́щущий, звеня́щий звук на всех нас: мы взгляну́ли друг на дру́га, а жена́ Никола́я Ива́новича так и вы́прямилась. За э́тим пе́рвым зву́ком после́довал друго́й,

бо́лее твёрдый и протя́жный, но все ещё, ви́димо, дрожа́щий, как струна́, когда́ о́на колёблется после́дним, быстро замира́ющим колеба́ньем; за вторы́м—тре́тий, и, понемно́гу разгоряча́ясь и расширя́ясь, полила́сь зауны́вная пе́сня. „Не одна́ во по́ле доро́женька пролега́ла" пе́л он, и всем нам сла́дко станови́лось и жу́тко. Я, признаю́сь, ре́дко слыхивал подо́бный го́лос: он был слегка́ разби́т и звене́л, как надтре́снутый; он да́же снача́ла отзыва́лся че́м-то болё́зненным, но в нём была́ и неподде́льная глубо́кая страсть, и мо́лодость, и си́ла, и сла́дость, и кака́я-то увлека́тельно-беспе́чная, гру́стная скорбь. Ру́сская, правди́вая, горя́чая душа́ звуча́ла и дыша́ла в нём, так и хвата́ла за́ сердце, хвата́ла пря́мо за его́ ру́сские стру́ны. Песнь росла́, разлива́лась. Яковом, ви́димо, овладева́ло упое́ние: он уже́ не робе́л, он отдава́лся весь своему́ сча́стью; го́лос его́ не трепета́л бо́лее,—он дрожа́л, но то́й, едва́ заме́тной, вну́тренней дро́жью стра́сти, кото́рая стрело́й вонза́ется в ду́шу слу́шателя,—и беспреста́нно крепча́л, тверде́л и расширя́лся. Он пел, соверше́нно позабы́в и своего́ сопе́рника и все́х нас, но, ви́димо, поднима́емый, как бо́дрый плове́ц волна́ми, на́шим молчали́вым, глубо́ким уча́стием. Он пел, и от ка́ждого зву́ка его́ го́лоса ве́яло че́м-то родны́м и необозри́мо-широ́ким, сло́вно знако́мая степь раскрыва́лась пе́ред ва́ми, уходя́ в бесконе́чную даль. У меня́, я чу́вствовал, закипа́ли на́ се́рдце и поднима́лись к глаза́м слёзы; глухи́е, сде́ржанные рыда́ния внеза́пно порази́ли меня́... Я огляну́лся,—жена́ целова́льника пла́кала, припа́в к окну́. Яков бро́сил на неё́ бы́стрый взгля́д и залился́ ещё́ зво́нче, ещё́ сла́ще пре́жнего. Никола́й Ива́нович, весь разне́женный, стоя́л, глу́по рази́нув рот; се́рый мужичо́к тихо́нько всхли́пывал в уголке́, с го́рьким шо́птом пока́чивая голово́й; ря́дчик поднёс сжа́тый кула́к и не шевели́лся... Не зна́ю, чем бы разреши́лось всео́бщее томле́нье, е́сли бы Яков вдруг не ко́нчил на высо́ком, необыкнове́нно то́нком зву́ке, сло́вно го́лос у него́ оборвался́. Никто́ не кри́кнул, да́же не шевельну́лся: все как бу́дто жда́ли, не бу́дет ли он ещё петь, но он раскры́л глаза́, сло́вно удивлё́нный на́шим мо́лчаньем, вопроша́ющим взо́ром обвёл всех круго́м и увида́л, что побе́да была́ его́...

Мы все стоя́ли, как оцепене́лые.

Ря́дчик ти́хо встал и подошёл к Якову.

— Ты... твоя́... ты вы́играл!—произнёс он, наконе́ц, с трудо́м и бро́сился вон из ко́мнаты.

И. С. Турге́нев.

---

38. В остро́ге.

В на́шей каза́рме бы́ло тро́е дагеста́нских тата́р, и все они́ бы́ли родны́е бра́тья. Два из них бы́ли уже́ пожилы́е, но тре́тий, Але́й, был не бо́лее двадцати́ двух лет, а на вид ещё моло́же. Его́ ме́сто на на́рах бы́ло ря́дом со мно́ю.

Его́ прекра́сное, откры́тое, у́мное и в то же вре́мя добро-ду́шно-наи́вное лицо́ с пе́рвого взгля́да привлекло́ к нему́ моё се́рдце, и я так рад был, что судьба́ посла́ла мне его́, а не друго́го кого́-нибу́дь в сосе́ди.

Я расспра́шивал его́ про Кавка́з, про его́ пре́жнюю жизнь. Бра́тья не меша́ли ему́ со мно́ю разгова́ривать, и им да́же э́то бы́ло прия́тно. Они́ то́же, ви́дя, что я всё бо́лее и бо́лее люблю́ Але́я, ста́ли со мно́ю гора́здо ла́сковее.

— Послу́шай, Але́й,—сказа́л я ему́ одна́жды,—отчего́ ты не вы́учишься чита́ть и писа́ть по-ру́сски? Зна́ешь ли, как э́то мо́жет тебе́ пригоди́ться здесь, в Сиби́ри, впосле́дствии?

— Очень хочу́. Да у кого́ вы́учишься?

— Ма́ло ли здесь гра́мотных! Да хо́чешь, я тебя́ вы́учу?

— Ах, вы́учи, пожа́луйста,—и он да́же привста́л на на́рах и с мольбо́ю сложи́л ру́ки, смотря́ на меня́.

Мы приняли́сь с сле́дующего же ве́чера. У меня́ был ру́сский перево́д Но́вого Заве́та. Без а́збуки, по одно́й э́той кни́ге Але́й в не́сколько неде́ль вы́учился превосхо́дно чита́ть. Ме́сяца че́рез три он уже́ соверше́нно понима́л кни́жный язы́к. Он учи́лся с жа́ром, с увлече́нием.

Одна́жды мы прочли́ с ним всю наго́рную про́поведь. Я заме́тил, что не́которые места́ в не́й он прогова́ривал как бу́дто с осо́бенным чу́вством. Я спроси́л его́, нра́вится ли ему́ то, что он прочёл.

Он бы́стро взгляну́л, и кра́ска вы́ступила на его́ лице́.

— Ах, да,—отвеча́л он.—Да, Иса́—свято́й проро́к, Иса́ бо́жьи слова́ говори́л. Как хорошо́!

— Что же тебе́ бо́льше всего́ нра́вится?

— А где Он говори́т: проща́й, люби́, не обижа́й и враго́в люби́. Ах, как хорошо́ Он говори́т!

Он оберну́лся к бра́тьям, кото́рые прислу́шивались к на́шему разгово́ру, и с жа́ром на́чал им говори́ть что́-то. Они́ до́лго и серьёзно говори́ли между́ собо́ю и утверди́тельно пока́чивали голова́ми. Пото́м они́ обрати́лись ко мне и подтверди́ли, что Иса́ был бо́жий проро́к, и что Он де́лал вели́кие чудеса́; что Он сде́лал из гли́ны пти́цу, ду́нул на неё, и она́ полете́ла... и что э́то у них в кни́гах напи́сано. Говоря́ э́то, они́ вполне́ бы́ли уве́рены, что де́лают мне вели́кое удово́льствие, восхваля́я Ису́, и Але́й

был вполне́ сча́стлив, что бра́тья его́ реши́лись и захоте́ли сде́лать мне э́то удово́льствие. Письмо́ у нас пошло́ та́кже чрезвыча́йно успе́шно. Але́й доста́л бума́ги (и не позво́лил мне купи́ть её на мои́ де́ньги), пе́рьев, черни́л, и в каки́х-нибу́дь два ме́сяца вы́учился превосхо́дно писа́ть. Э́то да́же порази́ло его́ бра́тьев. Го́рдость и дово́льство их не име́ли преде́лов. Они́ не зна́ли, чем возблагодари́ть меня́. На рабо́тах, е́сли нам случа́лось рабо́тать вме́сте, они́ напереры́в помога́ли мне и счита́ли э́то себе́ за сча́стье. Я уже́ не говорю́ про Але́я. Он люби́л меня́, мо́жет-быть, та́к же, ка́к и бра́тьев. Никогда́ не забу́ду, как он выходи́л из остро́га. Он отвёл меня́ за каза́рму и там бро́сился мне на ше́ю и запла́кал. Никогда́ пре́жде он не целова́л меня́ и не пла́кал.— „Ты для меня́ сто́лько сде́лал,—говори́л он,—что оте́ц мой, мать мне бы сто́лько не сде́лали; ты меня́ челове́ком сде́лал; бог запла́тит тебе́, а я тебя́ никогда́ не забу́ду...

Где́-то, где́-то тепе́рь мо́й до́брый, ми́лый Але́й?..

М. Достое́вский.

---

39. Тоска́ по родно́й семье́.

Тата́рин был бо́лен, томи́лся и, ку́таясь в свои́ лохмо́тья, расска́зывал, как хорошо́ в Симби́рской губе́рнии, и кака́я у него́ оста́лась до́ма краси́вая и у́мная жена́. Ему́ бы́ло лет два́дцать пять, не бо́льше, а тепе́рь, при све́те костра́, он бле́дный, с печа́льным боле́зненным лицо́м, каза́лся ма́льчиком. Шага́х в десяти́ текла́ тёмная, холо́дная река́; она́ ворча́ла, хлю́пала об изры́тый гли́нистый бе́рег и бы́стро несла́сь куда́-то в далёкое мо́ре. У са́мого бе́рега темне́ла больша́я ба́ржа, кото́рую перево́зчики называ́ют „карба́сом“. Далеко́ на том берегу́, потуха́я и перелива́ясь, зме́йками по́лзали огни́: э́то жгли прошлого́днюю траву́. А за змейками опя́ть потёмки. Слы́шно, как небольши́е льди́ны стуча́т о баржу́. Сы́ро, хо́лодно.... Дрожа́, с напряже́нием подбира́я ру́сские слова́, кото́рых он знал немно́го, и заика́ясь, тата́рин заговори́л о том, что не приведи́ бог захвора́ть на чужо́й стороне́, умере́ть и быть зары́тым в холо́дной ржа́вой земле́, что е́сли бы жена́ прие́хала к нему́ хотя́ на оди́н день и да́же на оди́н час, то за тако́е сча́стье он согласи́лся бы приня́ть каки́е уго́дно му́ки и благодари́л бы бо́га. Лу́чше оди́н день сча́стья, чем ничего́. Зате́м он опя́ть рассказа́л, кака́я у него́ оста́лась до́ма краси́вая и у́мная жена́; пото́м, взя́вшись обе́ими рука́ми за го́лову, он запла́кал и стал уверя́ть Семёна, что он ни в чём не винова́т и те́рпит напра́слину. Его́ два бра́та и дя́дя увели́ у

мужика́ лошаде́й и изби́ли старика́ до полусме́рти, а о́бщество рассуди́ло не по со́вести и соста́вило при́говор, по кото́рому пошли́ в Сиби́рь все три бра́та, а дя́дя, бога́тый челове́к, оста́лся до́ма. — „Привы́кнешь!—“ сказа́л Семе́н. Тата́рин замолча́л и уста́вился запла́канными глаза́ми на ого́нь; лицо́ у него́ выража́ло недоуме́ние и испу́г, как бу́дто он всё ещё не понима́л, заче́м он здесь, в темноте́ и в сы́рости, о́коло чужи́х люде́й, а не в Симби́рской губе́рнии.

Това́рищи его́ улегли́сь спать. Оста́вшись оди́н, тата́рин подложи́л хво́росту, лёг и, гля́дя на ого́нь, стал ду́мать о родно́й дере́вне и о свое́й жене́; прие́хала бы жена́ хоть на ме́сяц, хоть на́ день, а там е́сли хо́чет, пусть уезжа́ет наза́д! Лу́чше ме́сяц или да́же день, чем ничего́. Но е́сли жена́ сде́ржит обеща́ние и прие́дет, то чем её приде́тся корми́ть? Где она́ бу́дет тут жи́ть?

— Если нет чего́ ку́шать, то как живи́? — спроси́л вслух тата́рин.

За то, что он тепе́рь день и ночь рабо́тал весло́м, ему́ плати́ли то́лько де́сять копе́ек в су́тки; пра́вда, прое́зжие дава́ли на ча́й и на во́дку, но ребя́та дели́ли весь дохо́д между́ собо́й, а тата́рину ничего́ не дава́ли и то́лько смея́лись над ним. А от нужды́ го́лодно, хо́лодно и стра́шно... Тепе́рь бы, когда́ всё те́ло боли́т и дрожи́т, пойти́ в избу́шку и лечь спать, но там укры́ться не́чем и холодне́е, чем на берегу́; здесь то́же не́чем укры́ться, но всё же мо́жно хоть костёр разве́сть... Уже́ света́ло; я́сно обознача́лись ба́ржа, кусты́ тальника́ на воде́ и зыбь, а наза́д огляну́ться—там гли́нистый обры́в, внизу́ избу́шка, кры́тая бу́рою соло́мой, а вы́ше ле́пятся дереве́нские и́збы. На дере́вне уже́ пе́ли петухи́.

Ры́жий гли́нистый обры́в, баржа́, река́, чужи́е недо́брые лю́ди, го́лод, хо́лод, боле́зни—быть-мо́жет, всего́ э́того нет на са́мом де́ле. Вероя́тно, все э́то то́лько сни́тся,—ду́мал тата́рин. Он чу́вствовал, что спит, и слы́шал сво́й храп...

Коне́чно, он до́ма, в Симби́рской губе́рнии, и сто́ит ему́ то́лько назва́ть жену́ по и́мени, как она́ откли́кнется; а в сосе́дней ко́мнате мать... Одна́ко, каки́е быва́ют стра́шные сны! К чему́ они́? Тата́рин улыбну́лся и откры́л глаза́.

Кака́я э́то река́? Во́лга? Шёл снег. Тата́рин очну́лся и пошёл буди́ть това́рищей, чтобы плы́ть на ту сто́рону.

Ант. Че́хов.

40. Разду́мье о жи́зни.

Яков сел под ве́рбу и стал вспомина́ть. На том берегу́, где тепе́рь заливно́й луг, в ту по́ру стоя́л кру́пный берёзовый лес, а вон на то́й лысо́й горе́, что видне́ется на горизо́нте, тогда́ сине́л ста́рый-ста́рый сосно́вый бор. По реке́ ходи́ли ба́рки. А тепе́рь всё ро́вно, гла́дко, и на том берегу́ стои́т одна́ то́лько берёзка, молоденькая и стро́йная, как ба́рышня; а на реке́ то́лько у́тки да гу́си, и не похо́же, что́бы здесь когда́-нибу́дь ходи́ли ба́рки.

Ка́жется, про́тив пре́жнего и гусе́й ста́ло ме́ньше. Яков закры́л глаза́, и в воображе́нии его́ одно́ навстре́чу друго́му понесли́сь грома́дные стада́ бе́лых гусе́й. Он недоумева́л, как э́то вы́шло так, что за после́дние со́рок и́ли пятьдеся́т лет свое́й жи́зни он ни ра́зу не́ был на реке́, а е́сли, мо́жет, и был, то не обрати́л на неё внима́ния? Ведь река́ поря́дочная, не пустя́чная; на не́й мо́жно бы́ло бы завести́ ры́бную ло́влю. Но он прозева́л, ничего́ э́того не сде́лал. Жизнь прошла́ без по́льзы, без вся́кого удово́льствия, пропа́ла зря, ни за поню́шку табаку́; впереди́ уже́ ничего́ не оста́лось. И почему́ челове́к не мо́жет жить так, что́бы не́ было э́тих потéрь? Спра́шивается, заче́м сруби́ли березня́к и сосно́вый бор? Заче́м да́ром гуля́ет вы́гон? Заче́м Яков всю свою́ жизнь брани́лся, рыча́л, броса́лся с кулака́ми, обижа́л свою́ жену́ и, спра́шивается, для како́й на́добности да́веча напуга́л и оскорби́л жида́? Заче́м вообще́ лю́ди меша́ют жить друг дру́гу? Ведь от э́того каки́е убы́тки. Каки́е стра́шные убы́тки! Если бы не́ было не́нависти и зло́бы, лю́ди име́ли бы друг от дру́га грома́дную по́льзу.

Ант. Че́хов.

---

41. Д р у з ь я́.

В дождли́вый ле́тний день я подходи́л к Све́тлому о́зеру (на Ура́ле), к знако́мой рыба́чьей сторо́жке. Моё появле́ние вы́звало сторожево́й о́клик соба́ки: на незнако́мых люде́й она́ всегда́ ла́яла отры́висто и ре́зко, то́чно серди́то спра́шивала, кто идёт. Я люблю́ таки́х собачёнок за их ум и ве́рную слу́жбу. Когда́ я подходи́л уже́ совсе́м к избу́шке, ку́барем вы́летела на меня́ пёстрая собачо́нка и залила́сь отча́янным ла́ем.

— Собо́лька, переста́нь!... Не узна́л? Собо́лька останови́лся в разду́мьи, осторо́жно подошёл, обню́хал мои́ охо́тничьи сапоги́ и то́лько по́сле э́того винова́то завиля́л хвосто́м. „Де́скать, винова́т, ошибся, а всё-таки я до́лжен стере́чь избу́шку“. Избу́шка

оказáлась пустóй. Хозя́ин, веро́ятно, отпрáвился на óзеро. Я снял кýртку, рáзвéсил свои́ охóтничьи доспéхи, развёл огóнь и стал разогревáть похóдный мéдный чáйник. Собóлька вертéлся óколо меня́, виля́л пуши́стым хвостóм, обли́зываясь, ожидáя пожи́вы, и нетерпели́во взви́згивал.

Но вот собáка рáдостно взви́згнула и брóсилась к бéрегу.

Показáлась рыбáчья лóдка—„душегýбка". Тарáс плыл, стóя на ногáх, и лóвко рабóтал одни́м весло́м. Впереди́ лóдки плыл лéбедь.—„Ступáй домóй, гуля́ка!—ворчáл стари́к.—Вот я тебé дам... уплывáть, бог знáет кудá!"—Лéбедь крикли́во пóдплыл к бéрегу, встряхнýлся и, тяжелó перевáливаясь на свои́х кривы́х, чёрных ногáх, напрáвился к избýшке.

Стари́к Тарáс был высóкого рóста, с оклáдистой седóй бородóй и стрóгими, больши́ми, сéрыми глазáми. Зýбы у негó все бы́ли цéлы, и вóлосы на головé сохрани́лись. Загорéлое лицó бы́ло изборождено́ глубóкими морщи́нами. Лéтом он ходи́л босóй, без шля́пы, в однóй рубáхе из си́него холстá.

Поздорóвавшись с Тарáсом, спрáшиваю:—Откýда бог несёт?

— А вот за Приёмышем плáвал, за лéбедем. Всё тут вертéлся, а потóм вдруг пропáл. Вы́ехал я на óзеро—нет; по зáводям прóплыл—нет; а он за óстровом плáвает!

— Откуда достáл-то его́, лéбедя?

— А бог послáл. Тут охóтники из господ наезжáли, лéбедя с лебёдушкой и пристрели́ли, а вот э́тот остáлся. Заби́лся в камыши́ и сиди́т. Летáть-то не умéет, вот и спря́тался ребя́чьим дéлом. Я и поймáл его́. Пропадёт оди́н-то, ястребá заедя́т, потомý как смы́слу в нём ещё настоя́щего нет. Сиротóй остáлся. Вот я его́ и держý. И он тóже привы́к. Тепéрь вот скóро мéсяц бýдет, как живём вмéсте. Утром на зарé

подни́мется, попла́вает побли́зости, поко́рмится, а пото́м и домо́й. Зна́ет, когда́ я встаю́, и ждёт, что́бы покорми́ли. Умная пти́ца, сво́й поря́док зна́ет. — Стари́к говори́л любо́вно, как о бли́зком челове́ке.

— Улети́т он у тебя́, де́душка!

— Заче́м ему́ лете́ть? И здесь хорошо́: сыт, круго́м вода́, а там перезиму́ет вме́сте со мно́й в избу́шке. Ме́ста хва́тит, а нам с Собо́лькой веселе́е... Ка́к-то оди́н охо́тник забре́л ко мне и говори́т вот та́кже:—„Улети́т, е́жели кры́лья не подре́жешь“. А как же мо́жно увечить бо́жью пти́цу? Пусть живёт, как е́й от го́спода ука́зано... Не возьму́ я в толк, заче́м господа́ лебеде́й застрели́ли: ведь и е́сть-то не ста́нут...

— А как он с Собо́лькой?—спроси́л я.

— Сперва́-то боя́лся, а пото́м привы́к. Тепе́рь ле́бедь-то в друго́й раз у Собо́льки и кусо́к отни́мет. Пёс заворчи́т, а ле́бедь на него́—крыло́м. Смешно́ на них со стороны́ смотре́ть. А то гуля́ть вме́сте отпра́вятся,—ле́бедь по воде́, а Собо́лька по бе́регу. Про́бовал пёс пла́вать за ним, ну, да ремесло́-то не то,—чуть не потону́л. А как ле́бедь уплы́вёт, Собо́лька и́щет его́. Ся́дет на бережку́ и во́ет... Де́скать, ску́чно мне, псу, без тебя́, друг серде́чный!—Так вот и живём втроём.

Я о́чень люби́л старика́. Расска́зывал он уж о́чень хорошо́ и знал мно́го. Быва́ют таки́е хоро́шие, у́мные старики́. Мно́го ле́тних ноче́й приходи́лось корота́ть с ним, и ка́ждый раз узнаёшь что-нибу́дь но́вое. Пре́жде Тара́с был охо́тником и знал вся́кий обы́чай лесно́й пти́цы и лесно́го зве́ря, а тепе́рь не мог уходи́ть далеко́ и знал одну́ свою́ ры́бу. На ло́дке пла́вать ле́гче, чем ходи́ть с ружьём по́ лесу.

Тара́с жил на о́зере уж со́рок лет. Когда́-то у него́ была́ и своя́ семья́, и дом, а тепе́рь он жил бобылём.

Не ску́чно тебе́, де́душка, жить одино́кому—то в лесу́?

— Одному́? То́же и ска́жет ба́рин... Я тут князь-князем живу́. Всё у меня́ есть... И пти́ца вся́кая, и ры́бка, и тра́вка. Се́рдце ра́дуется в друго́й раз посмотре́ть на бо́жью тварь. У вся́кой сво́й поря́док и сво́й ум.

Ты ду́маешь, зря ры́бка пла́вает в воде́, и́ли пти́ца по ле́су лета́ет? Нет, у них забо́ты не ме́ньше на́шего... Вон, погляди́, ле́бедь-то дожида́ется нас с Собо́лькой. Стари́к ужа́сно был дово́лен свои́м Приёмышем, и все разгово́ры в конце́ концо́в своди́лись на него́.

— Го́рдая пти́ца! Помани́ её ко́рмом, да не да́й,—в друго́й раз не подойдёт. Сво́й хара́ктер то́же име́ет, да́ром что пти́ца. С Собо́лькой то́же себя́ о́чень го́рдо де́ржит. Чуть что, сейча́с крыло́м, а то и но́сом долбанёт. Пёс в друго́й раз созорни́чать за-

хо́чет, зуба́ми норови́т за хвост пойма́ть, а ле́бедь его́ по мо́рде... Это то́же не игру́шка, что́бы за хвост хвата́ть!...

Че́рез не́сколько ме́сяцев я сно́ва попа́л на о́зеро; была́ уже́ по́здняя о́сень, вы́пал пе́рвый снег. Навстре́чу мне вы́скочил тот же Собо́лька. Тепе́рь он узна́л меня́ и ла́сково завиля́л хвосто́м ещё и́здали. Тара́с был до́ма. Стари́к име́л утомлённый вид и каза́лся тепе́рь дря́хлым, жа́лким. Разговори́лись, и он рассказа́л про своё го́ре.

— По́мнишь, ба́рин, ле́бедь то? Ах, хороша́ была́ пти́ца! А вот мы опя́ть с Собо́лькой оста́лись одни́...

Уби́ли охо́тники?—Нет, сам ушёл... Вот как мне оби́дно э́то, ба́рин! Уж я ли, ка́жется, не уха́живал за ним! Из рук корми́л! Он ко мне и на го́лос шёл. Пла́вает он по о́зеру,—я его́ кли́кну, он и подплывёт. Учёная пти́ца! И, ведь, совсе́м привы́кла. Уж в за́морозки грех вы́шел. На перелёте ста́до лебеде́й спусти́лось на о́зеро. Ну, отдыха́ют, ко́рмятся, пла́вают, а я любу́юсь.

Пусть бо́жья пти́ца с си́лой соберётся: не бли́зкое ме́сто лете́ть... Ну, а тут и вы́шел грех. Мо́й-то Приёмыш снача́ла сторони́лся от други́х лебеде́й: подплывёт к ним и наза́д. Те гого́чут, по-сво́ему зову́т его́, а он домо́й. Де́скать, у меня́ дом сво́й е́сть. Так дня три э́то у них бы́ло. Ну, а пото́м ви́жу,—мой Приёмыш затоскова́л... Вот всё равно́, как челове́к тоску́ет. Вы́йдет э́то на бе́рег, вста́нет на одну́ но́гу и начнёт крича́ть. Да, ведь, как жа́лобно кричи́т! На меня́ то́ску наго́нит; а Собо́лька, дура́к, во́лком во́ет. Изве́стно, во́льная пти́ца, кро́вь то сказа́лась.

Стари́к замолча́л и вздохну́л.

— Ну, и что же, де́душка?

— Ах, и не спра́шивай! За́пер я его́ в избу́шку на це́лый день, так он и тут до́нял. Ста́нет на одну́ но́гу у са́мой две́ри и стои́т, пока́ не сго́нишь его́ с ме́ста. То́лько вот не ска́жет челове́чьим языко́м: „Пусти́, де́душка, к това́рищам“. Ах, ты, ду́маю, кака́я зада́ча! Пусти́ть,— улети́т и пропадёт...

— Почему́ же пропадёт?

— А как же?... Те-то на по́лной во́ле вы́росли. Их, молоды́х-то, оте́ц с ма́терью лета́ть вы́учили... Ведь, ты ду́маешь, как у них? Подрасту́т лебедя́та, оте́ц с ма́терью вы́ведут их сперва́ на́ во́ду, а пото́м начну́т учи́ть лета́ть. Исподволь у́чат, всё да́льше да да́льше. Свои́ми глаза́ми я ви́дел, как молоды́х обуча́ют к перелёту. Снача́ла особняко́м у́чат, пото́м небольши́ми ста́ями, а пото́м уж сгру́дятся в одно́ большо́е ста́до... Ну, а мо́й-то Приёмыш оди́н вы́рос и никуда́ не лета́л. Попла́вает по о́зеру,—то́лько и всего́ ремесла́. Где же ему́ перелёт вы́держать, когда́ на́до сто́лько ты́сяч вёрст перелете́ть. Вы́бьется из сил, отста́нет от ста́да и пропадёт...—Стари́к опя́ть замолча́л.

— А пришлось выпустить,—с грустью опять заговорил он.— Всё равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная! Ну, и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Хоть и птица, а тяжело со своим домом расставаться... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился, и как крикнет посвоему! Дескать: „Спасибо, дедушка, за хлеб, за соль!..“ Только я его и видел... Остались мы опять с Соболькой одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: „Соболька, а где наш Приёмыш?“—А Соболька сейчас выть... И сейчас на берег, искать друга милого... Мне по ночам всё грезилось, что Приёмыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду,—никого нет... Вот какое дело вышло, барин!“

Мамин-Сибиряк.

---

42. Мальчики.

— Володя приехал!—крикнул кто-то на дворе.

— Володечка приехали!—Завопила Наталья, вбегая с столовую.

Ах, боже мой!

Вся семья Королёвых, с часу-на-час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У под‘езда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шёл густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык.

Мать и тётка бросились обнимать и целовать его.

Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сёстры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи вбежал в переднюю и закричал испуганно:—

— А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что я, не отец что ли?

„Гав, гав“ ревел басом Милорд, огромный чёрный пёс, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Всё смешалось в один сплошной, радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошёл, Королёвы заметили, что, кроме Володи, в передней находился ещё один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу, в тени, бросаемой большою лисьей шубой.

— Воло́дечка, а э́то же кто?—спроси́ла шо́потом мать.

Ах, - спохвати́лся Воло́дя,—э́то, честь име́ю предста́вить, мо́й това́рищ, Чечеви́цын, учени́к второ́го кла́сса... Я привёз его́ с собо́й погости́ть у нас.

— Очень прия́тно, ми́лости про́сим!—сказа́л ра́достно оте́ц. —Пожа́луйте! Ната́лья, помоги́ господи́ну Чечеви́цыну разде́ться!

Немно́го погодя́, Воло́дя и его́ друг Чечеви́цын, ошеломлённые шу́мной встре́чей и всё ещё ро́зовые от хо́лода, сиде́ли за столо́м и пи́ли чай. Три сестры́ Воло́ди: Ка́тя, Со́ня и Ма́ша (са́мой ста́ршей из них бы́ло оди́ннадцать лет), сиде́ли за столо́м и не отрыва́ли глаз от но́вого знако́мого. Чечеви́цын был угрю́м; всё вре́мя молча́л и ни ра́зу не улыбну́лся. Де́вочки, гля́дя на него́, сра́зу сообрази́ли, что э́то, должно́-быть, о́чень у́мный и учёный челове́к. Он о чём-то всё вре́мя ду́мал и так был за́нят свои́ми мыслями, что когда́ его́ спра́шивали о чём-нибу́дь, то он вздра́гивал, встря́хивал голово́й и проси́л повтори́ть вопро́с.

Де́вочки заме́тили, что и Воло́дя, всегда́ весёлый и разгово́рчивый, на э́тот раз говори́л ма́ло, во́все не улыба́лся и как бу́дто да́же не рад был тому́, что прие́хал домо́й. Пока́ сиде́ли за ча́ем, он обрати́лся к се́страм то́лько раз, да и то с каки́ми-то стра́нными слова́ми. Он указа́л па́льцем на самова́р и сказа́л:

— А в Калифо́рнии, вме́сто ча́ю, пьют джин.—Он то́же был за́нят каки́ми-то мыслями и, су́дя по тем взгля́дам, каки́ми он и́зредка обме́нивался с дру́гом свои́м, Чечеви́цыным, мы́сли у ма́льчиков бы́ли о́бщие.

По́сле ча́ю все пошли́ в де́тскую. Оте́ц и де́вочки се́ли за стол и заняли́сь рабо́той, кото́рая была́ пре́рвана прие́здом ма́льчиков. Они́ де́лали из разноцве́тной бума́ги цветы́ и бахрому́ для ёлки. В преды́дущие свои́ прие́зды Воло́дя то́же занима́лся приготовлёниями для ёлки и́ли бе́гал на двор погляде́ть, как ку́чер и пасту́х де́лали снегову́ю го́ру; но тепе́рь он и Чечеви́цын не обрати́ли никако́го внима́ния на разноцве́тную бума́гу и ни ра́зу да́же не побыва́ли в коню́шне, а се́ли у окна́ и ста́ли о чём-то шепта́ться; пото́м они́ о́ба вме́сте раскры́ли географи́ческий а́тлас и ста́ли разсма́тривать каку́ю-то ка́рту.

— Снача́ла в Пермь,—ти́хо говори́л Чечеви́цын,—отту́да в Тюме́нь... пото́м Томск... пото́м... пото́м... в Камча́тку... Отсю́да самоеды перевезу́т на ло́дках че́рез Бери́нгов проли́в... Вот тебе́ и Аме́рика... Тут мно́го пушны́х звере́й.

— А Калифо́рния?—Спроси́л Воло́дя.

— Калифо́рния ни́же... Лишь бы в Аме́рику попа́сть, а Калифо́рния не за гора́ми. Добыва́ть же себе́ пропита́ние мо́жно охо́той.

Чечеви́цын весь день сторони́лся де́вочек и гляде́л на них исподло́бья. По́сле вече́рнего ча́я случи́лось, что его́ мину́т на́ пять оста́вили одного́ с де́вочками. Нело́вко бы́ло молча́ть. Он суро́во ка́шлянул, потёр пра́вой ладо́нью ле́вую ру́ку, погляде́л угрю́мо на Ка́тю и спроси́л:

— Вы чита́ли Ма́йн-Ри́да?

— Нет, не чита́ла. Послу́шайте, вы уме́ете на конька́х ката́ться?

Погружённый в свои́ мы́сли, Чечеви́цын ничего́ не отве́тил на э́тот вопро́с, а то́лько си́льно наду́л щёки и сде́лал тако́й вздо́х, как бу́дто ему́ бы́ло о́чень жа́рко. Он ещё раз по́днял глаза́ на Ка́тю и сказа́л:

— Когда́ ста́до бизо́нов бежи́т че́рез пампа́сы, то дрожи́т земля́, а в э́то вре́мя муста́нги, испуга́вшись, брыка́ются и ржут.—Чечеви́цин гру́стно улыбну́лся и доба́вил:—А та́кже инде́йцы напада́ют на поезда́. Но ху́же всего́—это моски́ты и терми́ты.

— Что э́то тако́е?

— Это вро́де муравьёв, то́лько с кры́льями. Очень си́льно куса́ются. Зна́ете, кто я?

— Господи́н Чечеви́цын.

— Нет. Я—Монтиго́мо, Ястреби́ный Ко́готь, вождь непобеди́мых.

Соверше́нно непоня́тные слова́ Чечеви́цына и то, что он постоя́нно шепта́лся с Воло́дей, и то, что Воло́дя не игра́л, а всё ду́мал о чём-то, всё э́то бы́ло зага́дочно и стра́нно. И о́бе ста́ршие де́вочки, Ка́тя и Со́ня, ста́ли зо́рко следи́ть за ма́льчиками. Ве́чером, когда́ ма́льчики ложи́лись спать, де́вочки подкра́лись к две́ри и подслу́шали их разгово́р. О, что́ они́ узна́ли! Ма́льчики собира́лись бежа́ть куда́ то в Аме́рику,—добыва́ть зо́лото; у них для доро́ги бы́ло уже́ всё гото́во: пистоле́т, два ножа́, сухари́, увеличи́тельное стекло́ для добыва́нья огня́, компа́с и четы́ре рубля́ де́нег. Они́ узна́ли, что ма́льчикам придётся пройти́ пешко́м не́сколько ты́сяч вёрст, а по доро́ге сража́ться с ти́грами и дикаря́ми, пото́м добыва́ть зо́лото и слоно́вую кость, убива́ть враго́в, поступа́ть в морски́е разбо́йники, пить джин и, в конце́ концо́в, обраба́тывать планта́ции. Воло́дя и Чечеви́цын говори́ли и в увлече́ньи перебива́ли друг дру́га. Себя́ Чечеви́цын называ́л при э́том так: „Монтиго́мо, Ястреби́ный ко́готь,“ а Воло́дю—„бледноли́цый брат мо́й“.

— Ты смотри́ же, не говори́ ма́ме—сказа́ла Ка́тя Со́не.—Воло́дя привезёт нам из Аме́рики зо́лота и слоно́вой ко́сти, а е́сли ты ска́жешь ма́ме, то его́ не пу́стят.

Накану́не сочё́льника Чечеви́цын це́лый день разсма́тривал ка́рту Азии и что-то запи́сывал, а Воло́дя ходи́л по ко́мнатам и и ничего́ не ел.

Ра́но утром в сочё́льник Ка́тя и Со́ня ти́хо подняли́сь с посте́ли и пошли́ посмотре́ть, как ма́льчики бу́дут бе́жать в Аме́рику.

Подкра́лись к две́ри.

— Так ты не пое́дешь?—серди́то спра́шивал Чечеви́цын.— Говори́: не пое́дешь?

— Го́споди!—ти́хо пла́кал Воло́дя.—Как же я пое́ду? Мне ма́му жа́лко.

— Бледноли́цый брат мо́й, я прошу́ тебя́, пое́дем! Ты же уверя́л, что пое́дешь, сам меня́ смани́л, а как е́хать, так вот и стру́сил.

И Чечеви́цын, что́бы уговори́ть Воло́дю, хвали́л Аме́рику, рыча́л, как тигр, изобража́л парохо́д, брани́лся, обеща́л отда́ть Воло́де всю слоно́вую кость и все льви́ные и ти́гровые шку́ры.

И э́тот ху́денький, сму́глый ма́льчик, с щети́нистыми воло-са́ми и весну́шками, каза́лся де́вочкам необыкнове́нным, замеча́-тельным. Это был геро́й, реши́тельный, неустраши́мый челове́к.

Когда́ де́вочки верну́лись к себе́ и одева́лись, Ка́тя, с гла-за́ми по́лными слёз, сказа́ла:

— Ах, мне так стра́шно?

До двух часо́в, когда́ се́ли обе́дать, всё бы́ло ти́хо, а за обе́дом вдруг оказа́лось, что ма́льчиков нет до́ма. Посла́ли в людску́ю, в коню́шню, во фли́гель к прика́зчику,—там их не́ было. Посла́ли в дере́вню,—и там не нашли́. И чай пото́м то́же пи́ли без ма́льчиков, а когда́ сади́лись у́жинать, мама́ша о́чень беспоко́илась, да́же пла́кала. А но́чью опя́ть ходи́ли в дере́вню, иска́ли, ходи́ли с фонаря́ми на реку́. Бо́же, кака́я подняла́сь сумато́ха!

На друго́й день приезжа́л уря́дник, писа́ли в столо́вой каку́ю-то бума́гу. Мама́ша пла́кала.

Но вот у крыльца́ останови́лись ро́звальни, и от тро́йки бе́лых лошаде́й вали́л пар.

— Воло́дя прие́хал!—кри́кнул кто-то на дворе́.

Оказа́лось, что ма́льчиков задержа́ли в го́роде, в гости́ном дворе́ (там они́ ходи́ли и всё спра́шивали, где продаётся по́рох). Воло́дя как вошёл в пере́днюю, так и зарыда́л и бро́сился ма́тери на ше́ю. Де́вочки, дрожа́, с у́жасом ду́мали о том, что тепе́рь бу́дет; слы́шали, как папа́ша повёл Воло́дю и Чечеви́цына к себе́ в кабине́т и до́лго там говори́л с ни́ми: и мама́ша то́же говори́ла и пла́кала.

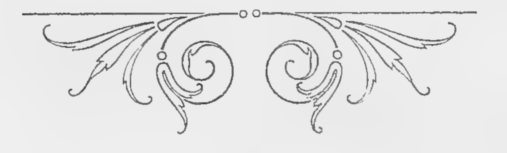
— Ра́зве э́то так мо́жно?—убежда́л папа́ша.—Не да́й бог узна́ют в гимна́зии, ва́с исключа́т. А вам сты́дно, господи́н Чеви́цын! Нехорошо́-с! Вы—зачи́нщик, и, наде́юсь, вы бу́дете нака́заны ва́шими роди́телями. Ра́зве э́то так мо́жно? Вы где ночева́ли?

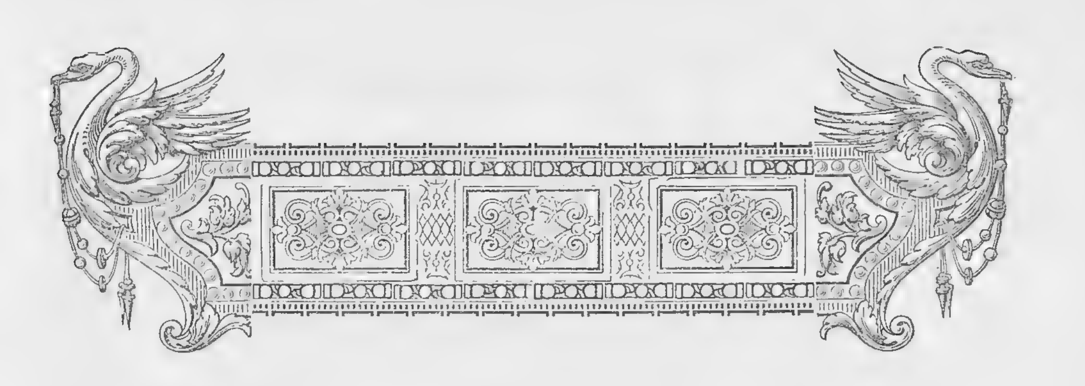
— На вокза́ле!—го́рдо отве́тил Чечеви́цын.

Воло́дя пото́м лежа́л, и ему́ к голове́ прикла́дывали полоте́нце, смо́ченное в у́ксусе. Посла́ли куда́-то телегра́мму, и на друго́й день прие́хала да́ма, мать Чечеви́цына, и увезла́ своего́ сы́на. Когда́ уезжа́л Чечеви́цын, то лицо́ у него́ бы́ло суро́вое, надме́нное, и, проща́ясь с де́вочками, он не сказа́л ни одного́ сло́ва; то́лько взял у Ка́ти тетра́дку и написа́л в знак па́мяти:

„Монтиго́мо - Ястреби́ный Ко́готь“.

А. Че́хов.





II. Среди́ люде́й труда́.

---

1. В рабо́чей слобо́дке.

Ра́нним у́тром ка́ждого дня над рабо́чей слобо́дкой, в ды́мном, ма́сляном во́здухе, реве́л фабри́чный гудо́к, и послу́шные зо́ву, из ма́леньких се́рых домо́в выбега́ли на у́лицу угрю́мые лю́ди, не успе́вшие освежи́ть сном свои́ му́скулы. В холо́дном су́мраке они́ шли по у́зким, немощёным у́лицам к фа́брике; а она́ с равноду́шной уве́ренностью ждала́ их, освеща́я лю́дям гря́зную доро́гу деся́тками свои́х жи́рных, квадра́тных глаз. Грязь чмо́кала под нога́ми. Раздава́лись хри́плые восклица́ния со́нных голосо́в, раздражи́тельная ру́гань рвала́ во́здух, а навстре́чу лю́дям плы́ли глухи́е зву́ки—тяжёлая возня́ маши́н, недово́льное ворча́ние па́ра. Угрю́мо и стро́го мая́чили высо́кие, чёрные тру́бы, поднима́ясь над слобо́дкой, то́чно па́лки.

Ве́чером, когда́ сади́лось со́лнце и на стёклах домо́в уста́ло блесте́ли его́ кра́сные лучи́, фа́брика выки́дывала люде́й из свои́х ка́менных недр, сло́вно отрабо́танный шлак, и они́ сно́ва шли по у́лицам, закопчённые, с чёрными ли́цами, распространя́я в во́здухе ли́пкий за́пах маши́нного ма́сла и блестя́ голо́дными зуба́ми. Тепе́рь в их голоса́х звуча́ло оживле́ние и да́же ра́дость: на сего́дня ко́нчилась ка́торга труда́; до́ма ждал у́жин и о́тдых.

М. Го́рький.

2. За рассчётом.

В субботу мрачная физиономия фабричной улицы несколько оживает: в домах идёт суетня с мытьём полов и обметаньем потолков; молотки на фабрике валяют с особенной торопливостью; на улице заметно более движения. Все полагают, что завтра, в воскресенье, почему то будет легче на душе, хотя в то же время все вполне достоверно знают, что и завтра будет такая же смертельная тоска и скука.

Часов с шести вечера оживление ещё приметней. Вместе с трезвоном колоколов поднимается стук дрожек и пролёток, развозящих по церквам. Торопливо возвращаются с фабрик работницы-женщины и девушки; самоварщики целыми фалангами тащат ярко вычищенные самовары в склады; у каждого в руках по две штуки; изредка они останавливаются, становят ногу на тумбу и направляются с своей ношей, подталкивая её коленом. На фабриках идут рассчёты.

В огромной комнате с низкими сводами толпился рабочий народ с книжками в руках и с крайне тревожными лицами: ждут рассчёта. И странное дело: как нетерпеливы они в то время, когда хозяин как-то безтолково оттягивает минуту рассчёта, разговаривая с приказчиком о совершенно посторонних предметах; столько же народ этот делается робким, трусливым, даже начинает креститься, когда наконец настаёт самая минута рассчёта и хозяин начинает громыхать в мешке медными деньгами. Начинается шептанье; передние ряды ёжатся к задней стене; иные, закрывая глаза и заслонившись рассчётной книжкой, каким то испуганным шопотом репетируют монолог убедительнейшей просьбы хозяину: „Самойл Иваныч!.. ради господа бога! Сичас умереть, на той неделе как угодно ломайте... Батюшка!..“ Другие, рассматривая книжки один у другого, фыркают и исчезают в толпе.

Глеб Успенский.

---

3. На фабрике.

Первый резкий фабричный свисток нарушил тишину раннего утра, а вслед за ним со всех сторон города всё более беспорядочно и шумно раздавались другие свистки, оравшие хриплыми и дикими голосами, точно хор чудовищных петухов, металлическими гортанями возглашавших призыв к труду. Громадные фабрики, длинные, чёрные корпуса и тонкие трубы которых мелькали во мраке рассвета, начинали медленно пробуждаться,

вспыхивая языкáми плáмени, вздыхáя клубáми ды́ма, начинáли жить и дви́гаться в темнотé, котóрая ещё покрывáла зéмлю. Ты́сячи рабóчих, как ти́хие, чёрные рои́, вы́ползли вдрýг из боковы́х переýлков, из домóв, стоя́вших на окрáинах гóрода, и напóлнили ýлицу шýмом шагóв, бряцáньем жестя́нок, блестéвших при свéте фонарéй, отры́вистым стýком деревя́нных подóшв. Они́ заливáли всю ýлицу, со всех сторóн заполня́ли тротуáры, толкáлись на мостовóй. Одни́ из них станови́лись беспоря́дочной кýчей пéред ворóтами фáбрик, другíе, вы́строившись гуськóм, дли́нною ни́тью исчезáли в ворóтах.

В тёмных глуби́нах нáчали вспы́хивать огни́, чёрные молчали́вые óстовы фáбрик внезáпно озаря́лись сóтнями освещённых óкон и как бýдто сверкáли плáменными глазáми. Бéлый дым начинáл вылетáть из труб и расползáться междý э́тим могýчим кáменным лéсом, котóрый как бы качáлся в трéпетном электри́ческом освещéнии.

Зайдём в однý из громáдных фáбрик, дли́нный пятиэтáжный кóрпус котóрой сверкáет всéми óкнами. Вот пéрвая зáла, так называéмая „кýхня", где приготовля́ются крáски; онá утопáет во мрáке. Под покáтыми кры́шками, как под стальны́ми зóнтиками, мéдленно вертя́тся широ́кие мéдные мешáлки, взбáлтывающие крáску в больши́х котлáх. От движéния маши́н дрожи́т всё здáние. Дли́нные передáточные ремни́, тóчно блéдно-жёлтые змéи бесконéчной длины́, мчáтся под потолкóм, мелькáют над двойны́м ря́дом котлóв, ползýт вдоль стен, перекрéщиваясь высокó вверхý, и убегáют сквозь стéны, чрез отвéрстия, в другíе зáлы. Тéни рабóчих, в рубáхах, вы́мазанных крáсками, ти́хо мелькáют и исчезáют в темнотé; вагонéтки с грóмом вкáтываются и выкáтываются, перепóлненные готóвыми крáсками, котóрые они́ развóзят в печáтни и краси́льни.

Краси́льня вся́ застáвлена больши́ми краси́льными бадья́ми, над котóрыми растя́нутые на больши́х вáлах штýки матéрии вертя́тся и купáются в крáске, разбры́згивая её на ли́ца и рубáхи рабóчих; рабóчие поминýтно чéрпают ладóнью вóду из кáдок и смóтрят, éсть ли в нéй ещё крáска, котóрую вытя́гивает матéрия. С другóй стороны́, за двойны́м ря́дом желéзных столбóв, поддéрживающих вéрхние этажи́ фáбрики, стоя́т полоскáтельницы—дли́нные я́щики, пóлные кипя́щей воды́, пéнящейся от сóды; бры́зги взбивáемой метёлками воды́ рассыпáются по зáле и образýют такóй густóй тумáн, что свет ламп едвá ви́ден, слóвно отражённый в зéркале. Механи́ческие получáтели ля́згают, принимáют как бы растопы́ренными свои́ми рукáми вы́мытый в э́тих полоскáтельницах товáр и отдаю́т егó рабóчим, котóрые прýтьями уклáдывают егó на вагонéтках, подвози́мых ежеминýтно.

Сте́ны дрожа́т. Под‘ёмные маши́ны, прикреплённые на стена́х, соединя́ют низ фа́брики с её ве́рхними четырьмя́ этажа́ми. Помину́тно раздаётся глухо́е бряца́нье в ра́зных места́х за́лы: э́то под‘ёмная маши́на принима́ет и́ли выбра́сывает из себя́ вагоне́тки, това́ры, люде́й... И куда́ ни пойти́ по фа́брике, всю́ду прихо́дится пробира́ться сквозь паути́ну бесконе́чных ремне́й, среди́ ре́зких за́пахов кра́сок, бели́л и сыры́х мате́рий, разогре́тых в э́той жаре́.

Неча́ев.

---

4. В не́драх земли́.

На огро́мном зелене́ющем горизо́нте сте́пи то́лько одна́ ша́хта со свои́ми чёрными забо́рами и торча́щей над ни́ми безобра́зной вы́шкой напомина́ет о челове́ке и челове́ческом труде́. Дли́нные, кра́сные, закопчённые све́рху тру́бы изрыга́ют, не остана́вливаясь ни на секу́нду, клу́бы гря́зного, чёрного ды́ма. Ещё и́здали слы́шен ча́стый зво́н мо́лотов, бью́щих по желе́зу, и протя́жный гро́хот цепе́й, и э́ти трево́жные металли́ческие зву́ки принима́ют како́й-то суро́вый, неумоли́мый хара́ктер среди́ тишины́ я́сного, улыба́ющегося у́тра.

Сейча́с должна́ спусти́ться под зе́млю втора́я сме́на.

Со́тни две челове́к толпя́тся на ша́хтенном дворе́ между́ шта́белей, сло́женных из кру́пных кусков блестя́щего на изло́мах ка́менного у́гля. Соверше́нно чёрные, пропи́танные у́глем, немы́тые по це́лым неде́лям ли́ца, лохмо́тья всевозмо́жных цвето́в и видо́в, опо́рки, ла́пти, сапоги́, ста́рые рези́новые кало́ши и про́сто босы́е но́ги,—всё э́то перемеша́лось в пёстрой, суетли́вой, галдя́щей ма́ссе.

Но понемно́гу толпа́ уменьша́ется, влива́ясь в у́зкую деревя́нную дверь, над кото́рой приби́та бе́лая доще́чка с на́дписью: „ла́мповая“. Ла́мповая битко́м наби́та рабо́чими. Де́сять челове́к, си́дя за дли́нным столо́м, беспреры́вно наполня́ют ма́слом стекля́нные ла́мпочки, оде́тые све́рху в предохрани́тельные про́волочные футля́ры. Когда́ ла́мпочки совсе́м гото́вы, ла́мповщик вдева́ет в ушки́, соединя́ющие верх футля́ра с дном, кусо́чек свинца́ и расплю́щивает его́ одни́м нажи́мом масси́вных щипцо́в. Таки́м о́бразом достига́ется то, что шахтёр до са́мого вы́хода обра́тно и́з-под земли́ ника́к не мо́жет откры́ть ла́мпочки, а е́сли да́же случа́йно и разобьётся её стекло́, то про́волочная се́тка де́лает ого́нь соверше́нно безопа́сным. Это де́лается для безопа́сности, потому́ что в глубине́ каменноуго́льных шахт скопля́ется осо́бый горю́чий газ, кото́рый от огня́ мгнове́нно взрыва́ется; быва́ли

слу́чаи, что от неосторо́жного обраще́ния с огнём на ша́хтах погиба́ли со́тни челове́к.

Получи́в ла́мпочку, шахтёр прохо́дит в другу́ю ко́мнату, где ста́рший та́бельщик отмеча́ет его́ фами́лию в дневно́й ве́домости, а дво́е подру́чных тща́тельно осма́тривают его́ карма́ны, одёжду и о́бувь, что́бы узна́ть, не несёт ли он с собо́ю папиро́с, спи́чек и́ли огни́ва.

Убеди́вшись, что запрещённых веще́й нет, и́ли про́сто не найдя́ их, та́бельщик ко́ротко кива́ет голово́й и броса́ет отры́висто: „проходи́“.

Тогда́ че́рез сле́дующую две́рь шахтёр выхо́дит на широ́кую, дли́нную кры́тую галлере́ю, располо́женную над „гла́вным столо́м“.

В галлере́е идёт кипу́чая суета́ сме́ны. В квадра́тном отве́рстии, веду́щем в глубь ша́хты, хо́дят на цепи́, переки́нутой высоко́ над кры́шей че́рез блок, две желе́зных платфо́рмы. В то время́, когда́ одна́ из них поднима́ется,—друга́я опуска́ется на со́тню са́жен. Платфо́рма то́чно чу́дом выска́кивает из-по́д земли́, нагружённая вагоне́тками с вла́жным, то́лько что вы́рванным из недр земли́, у́глем. В оди́н миг рабо́чие ста́скивают вагоне́тки с платфо́рмы, ста́вят их на ре́льсы и бего́м влеку́т на ша́хтенный двор.

Пуста́я платфо́рма то́тчас же наполня́ется людьми́. В маши́нное отделе́ние даётся усло́вный знак электри́ческим звонко́м, платфо́рма содрога́ется и внеза́пно с стра́шным гро́хотом исчеза́ет из глаз, прова́ливается под зе́млю. Прохо́дит мину́та—друга́я, в продолже́ние кото́рых ничего́ не слы́шно, кро́ме пыхте́ния маши́ны и ля́згания бегу́щей це́пи, и друга́я платфо́рма,—но уже́ не с у́глем, а битко́м наби́тая мо́крыми, чёрными и дрожа́щими от хо́лода людьми́,—вылета́ет из-по́д земли́, то́чно вы́брошенная наве́рх како́й-то таи́нственной, неви́димой и стра́шной си́лой. И э́та сме́на люде́й и у́гля продолжа́ется бы́стро, то́чно, однообра́зно, как ход огро́мной маши́ны.

Ку́прин.

---

5. Мечта́ рабо́чего.

Сты́дно нам, ру́сским рабо́чим, де́лается тогда́, когда́ мы всю́ду слы́шим похвалу́ загра́ни́чным веща́м. Говоря́т, что их ве́щи и деше́вле и лу́чше, и что то́лько за грани́цей изобрета́ют хоро́шие маши́ны и други́е ве́щи. И нам оби́дно стано́вится. Чем хвали́ть загра́ни́чное и порица́ть ру́сских рабо́чих, не лу́чше ли устро́ить шко́лы, где могли́ бы мы, рабо́чие, учи́ть фи́зику, меха́нику. Вот тогда́ бы мы, ру́сские рабо́чие, не ху́же

заграни́чных могли́ бы сде́лать, что уго́дно. Вот оттого́-то и оби́дно слы́шать порица́ние, в чём мы не винова́ты. И гру́стно и тя́жко на душе́. Что-то темно́ и непоня́тно".

„Как поду́маешь о себе́ и свое́й до́ле, неве́село ста́нет на се́рдце. Ви́дим себя́ одино́кими, беспомо́щными... Мы ви́дим, как ины́е бессерде́чные лю́ди на ка́ждом шагу́ унижа́ют нас и на́ших това́рищей, смо́трят на нас с презре́ньем, называ́ют глу́пым наро́дом и в свои́х слова́х умы́шленно выставля́ют нас лентя́ями, пья́ницами и счита́ют рабо́чего после́дним челове́ком; свои́м чё́рствым се́рдцем не уме́я нас поня́ть, они́ су́дят о нас по давно́ проше́дшему вре́мени и ду́мают, что мы, как они́, сло́вно столб, вры́тый в зе́млю, подгнива́ем на одно́м ме́сте. Они́ свои́ми слепы́ми глаза́ми ви́дят в нас то́лько гря́зных, неуклю́жих рабо́чих. Пора́ им переста́ть ви́деть в нас непоня́тное ста́до глу́пых люде́й и говори́ть, что мы неспосо́бны понима́ть пра́вду, не нужда́емся в образова́нии, не лю́бим чита́ть хоро́шие, де́льные кни́ги. Пора́ переста́ть говори́ть нам, что мы должны́ ду́мать то́лько о еде́ и рабо́те."

„В пра́здничные дни по вечера́м мы полюби́ли чита́ть хоро́шие кни́ги, и ве́чер прохо́дил незаме́тно. Дово́льные чте́нием, мы расходи́лись с волне́нием в душе́, и забыва́лась на вре́мя тяжё́лая до́ля рабо́чего, жизнь на заво́дах и фа́бриках, тяжё́лая, оби́дная, бесправная, по́лная бра́нью и униже́нием.

Мы ча́хли в ней и ча́хли на́ши де́ти по фа́брикам и мастерски́м. Но ве́ра в добро́ и пра́вду не покида́ет нас, облегча́ет изму́ченное се́рдце, и наде́жда в душе́ загора́ется. Утром (по́сле вечё́рнего чте́ния) мы идё́м на рабо́ту, но се́рдце ве́село потому́, что тепе́рь вокру́г себя́ мы ви́дим всё я́сно и поня́тно, и жаль нам стано́вится свои́х това́рищей, кото́рые живу́т в темноте́ и неве́жестве, и ме́чутся эти горемы́ки, проклина́я до́лю рабо́чего, проклина́я себя́ и свою́ непови́нную се́мью. И ве́рится нам, что наста́нет хоро́шее вре́мя, когда́ все рабо́чие разовью́тся, поумне́ют и полю́бят хоро́шее чте́ние, бу́дут дру́жно жить и люби́ть това́рищей, уба́вится тогда́ пья́нство и разгу́л, и тогда́ нас, рабо́чих, все ста́нут уважа́ть.

Глеб Успе́нский.

---

6. Ма́ленький подмасте́рье.

Ва́нька Жу́ков, девятиле́тний ма́льчик, о́тданный три́ ме́сяца тому́ наза́д в уче́нье к сапо́жнику Аля́хину, в ночь под Рождество́ не ложи́лся спать. Дожда́вшись, когда́ хозя́ева и подмасте́рья ушли́ к зау́трене, он достал из хозя́йского шка́па пузы-

ре́к с черни́лами, ру́чку с заржа́вленным перо́м и, разложи́в пе́ред собо́ю помя́тый лист бума́ги, стал писа́ть. Пре́жде чем вы́вести пе́рвую бу́кву, он не́сколько ра́з пугли́во огляну́лся на две́ри и о́кна, покоси́лся на тёмный о́браз, по о́бе сто́роны кото́рого тяну́лись по́лки с коло́дками, и преры́висто вздохну́л. Бума́га лежа́ла на скамье́, а сам он стоя́л пе́ред скамьёй на коле́нях.

„Ми́лый де́душка, Константи́н Мака́рыч!—писа́л он.—И пишу́ тебе́ письмо́. Поздравля́ю вас с рожество́м и жела́ю тебе́ всё от го́спода бо́га. Нет у меня́ ни отца́, ни ма́меньки, то́лько ты у меня́ оди́н оста́лся“.

Ва́нька перевёл глаза́ на тёмное окно́, в кото́ром мелька́ло отраже́ние его́ све́чки, и жи́во вообрази́л себе́ своего́ де́да Константи́на Мака́рыча, слу́жащего ночны́м сто́рожем у госпо́д Живарёвых.

Тепе́рь, наве́рное, дед стои́т у воро́т, щу́рит глаза́ на я́ркокра́сные о́кна дереве́нской це́ркви и, прито́пывая ва́ленками, балагу́рит с дво́рней. Колоту́шка его́ подвя́зана к по́ясу.

Ва́нька вздохну́л, обмакну́л перо́ и продолжа́л писа́ть. „А вчера́сь мне́ была́ вы́волочка. Хозя́ин вы́волок меня́ за волосье́ на двор и отчеса́л шпандырём за то, что я кача́л и́хнего ребятёнка в лю́льке и по нечая́нности засну́л. А на неделе́ хозя́йка веле́ла почи́стить селёдку, а я на́чал с хвоста́, а она́ взяла́ селёдку и е́йной мо́рдой начала́ меня́ в ха́рю ты́кать. Подмасте́рья на́до мной насмеха́ются, посыла́ют в каба́к за во́дкой и веля́т красть у хозя́ев огурцы́, а хозя́ин бьёт чем по́падя, а еды́ не́ту никако́й. Утром даю́т хле́ба, в обе́д ка́ши, и в ве́черу то́же хле́ба, а чтоб ча́ю и́ли щей, то хозя́ева са́ми тре́скают. А спать мне веля́т в сеня́х; а когда́ ребятёнок и́хний пла́чет, я во́все не сплю, а кача́ю лю́льку. Ми́лый де́душка! сде́лай бо́жецкую ми́лость, возьми́ меня́ отсю́да домо́й, на дере́вню... Не́ту никако́й моéй возмо́жности... Кла́няюсь тебе́ в но́жки и бу́ду ве́чно бо́га моли́ть, увези́ меня́ отсю́да, а то помру́...“

Ва́нька покриви́л рот, потёр свои́м чёрным кулако́м глаза́ и всхли́пнул.

„Я бу́ду тебе́ таба́к тере́ть,—продолжа́л он,—бо́гу моли́ться, а е́сли что, то секи́ меня́, как си́дорову ко́зу. А е́жели ду́маешь, до́лжности мне не́ту, то я Христа́ ра́ди попрошу́сь к прика́зчику сапоги́ чи́стить, а́ли заме́сто Ѳе́дьки в подпа́ски пойду́. Де́душка ми́лый! Не́ту никако́й возмо́жности, про́сто смерть одна́. Хоте́л было пешко́м в дере́вню бежа́ть, да сапого́в не́ту, моро́зу бою́сь. А когда́ вы́росту большо́й, то за э́то са́мое бу́ду тебя́ корми́ть и в оби́ду никому́ не дам; а помрёшь, ста́ну за упоко́й души́ моли́ть всё равно́, как за ма́мку Пелаге́ю.

„А Москва́ го́род большо́й. Дома́ всё господские, и лошадей мно́го, а овец нету, и соба́ки незлы́е. Со звездо́й тут ребя́та не хо́дят и на кры́лос петь никого́ не пуща́ют, а раз я вида́л в одно́й ла́вке на окне́ крючки́ продаю́тся пря́мо с ле́ской и на вся́кую ры́бу, о́чень сто́ющие, да́же тако́й есть оди́н крючо́к, что пудово́го сома́ уде́ржит. И вида́л кото́рые ла́вки, где ру́жья вся́кие на мане́р ба́риновых, так что небо́сь рубле́й сто ка́ждое .. А в мясны́х ла́вках и тетерева́, и рябцы́, и за́йцы, а в кото́ром ме́сте их стреля́ют, про то сиде́льцы не ска́зывают...

„Ми́лый де́душка, а когда́ у госпо́д бу́дет ёлка с гости́нцами, возьми́ мне золочёный оре́х и в зелёный сундучо́к спря́чь. Попроси́ у ба́рышни О́льги Игна́тьевны, скажи́: для Ва́ньки“.

Ва́нька су́дорожно вздохну́л и опя́ть уста́вился на окно́... Он вспо́мнил, что за ёлкой для госпо́д всегда́ ходи́л в лес дед и брал с собо́ю вну́ка. Весёлое бы́ло вре́мя! И дед кря́кал, и моро́з кря́кал, а гля́дя на них и Ва́нька кря́кал... Быва́ло, пре́жде чем вы́рубить ёлку, де́д выку́ривает тру́бку, до́лго ню́хает таба́к, посме́ивается над озя́бшим Ваню́шкой... Молоды́е ёлки, оку́танные и́неем, стоя́т неподви́жно и ждут, кото́рой из них помира́ть. Отку́да ни возьми́сь, по сугро́бам лети́т стрело́й за́яц... Дед не мо́жет, чтоб не кри́кнуть: „Держи́, держи́... держи́! Ах, ку́цый дья́вол!“

Сру́бленную ёлку дед тащи́л в господский дом, а там принима́лись убира́ть её... Бо́льше всех хлопота́ла ба́рышня О́льга Игна́тьевна, люби́мица Ва́ньки. Когда́ ещё была́ жива́ Ва́нькина мать, Пелаге́я, и служи́ла у госпо́д в го́рничных, О́льга Игна́тьевна корми́ла Ва́ньку леденца́ми и от не́чего де́лать вы́учила его́ чита́ть, писа́ть, счита́ть до́ ста и да́же плеса́ть кадри́ль. Когда́ же Пелаге́я умерла́, сироту́ Ва́ньку спрова́дили в людску́ю ку́хню, к де́ду, а из ку́хни в Москву́, к сапо́жнику Аля́хину.

„Приезжа́й, ми́лый де́душка,—продолжа́л Ва́нька,—Христо́м бо́гом тебя́ молю́, возьми́ меня́ отсе́да. Пожале́й ты меня́, сироту́ несча́стную, а то меня́ все коло́тят, а ку́шать стра́сть хо́чется, а ску́ка така́я, что и сказа́ть нельзя́, всё пла́чу. А наме́дни хозя́ин коло́дкой по голове́ уда́рил, так что упа́л и наси́лу очу́хался. Пропа́щая моя́ жизнь, ху́же соба́ки вся́кой... А ещё кла́няюсь Алёне, криво́му Его́рке и ку́черу, а гармо́нию мою́ никому́ не отдава́й. Остаю́сь твой вну́к Ива́н Жу́ков. Ми́лый де́душка, приезжа́й!..“

Ва́нька сверну́л вче́тверо испи́санный лист и вложи́л его́ в конве́рт, ку́пленный накану́не за копе́йку. Поду́мав немно́го, он обмакну́л перо́ и написа́л а́дрес: „На дере́вню де́душке“.

Пото́м почеса́лся, поду́мал и приба́вил: „Константи́ну Мака́рычу“. Дово́льный тем, что ему́ не помеша́ли писа́ть, он на-

де́л ша́пку и, не набра́сывая на себя́ шубе́йки, пря́мо в рубáхе, вы́бежал на у́лицу.

Сиде́льцы из мясно́й ла́вки, кото́рых он расспра́шивал накану́не, сказа́ли ему́, что пи́сьма опуска́ются в почто́вые я́щики, а из я́щиков развóзятся по всéй землé на почто́вых тро́йках с пья́ными ямщика́ми и зво́нкими колоко́льцами. Ва́нька добежа́л до пе́рвого почто́вого я́щика и су́нул драгоце́нное письмо́ в щель.

Убаю́канный сла́дкими наде́ждами, он час спустя́ кре́пко спал... Ему́ сни́лась пе́чка. На печи́ сиди́т дед, све́сив босы́е но́ги, и чита́ет письмо́ куха́ркам... Около пе́чи хо́дит Вью́н и верти́т хвосто́м.

А. П. Че́хов.

7. Трудова́я жизнь.

Стоя́ла жа́рка́я и суха́я пого́да. Мы исполня́ли ра́зные нару́жные рабо́ты, гла́вным о́бразом кра́сили кры́ши. С непривы́чки мои́м нога́м бы́ло горячо́, то́чно я ходи́л по раскалённой плите́, а когда́ надева́л ва́ленки, то нога́м бы́ло ду́шно. Но э́то то́лько на пе́рвых пора́х; пото́м же я привы́к, и всё пошло́, как по ма́слу. Я жил тепе́рь среди́ люде́й, для кото́рых труд был обяза́телен и неизбе́жен, и кото́рые рабо́тали, как ломовы́е ло́шади, ча́сто не сознава́я нра́вственного значе́ния труда́ и да́же никогда́ не употребля́я в разгово́ре са́мого сло́ва труд; о́коло них я то́же чу́вствовал себя́ ломовико́м, все бо́лее проника́ясь обяза́тельностью и неизбе́жностью того́, что я де́лал, и э́то облегча́ло мне жизнь, избавля́я от вся́ких сомне́ний. В пе́рвое вре́мя всё занима́ло меня́, всё бы́ло но́во, то́чно я вновь роди́лся. Я мог спа́ть на земле́, мог ходи́ть босико́м,—а э́то чрезвыча́йно прия́тно; мог стоя́ть в толпе́ просто́го наро́да, никого́ не стесня́я; и когда́ на у́лице па́дала изво́зчичья ло́шадь, то я бежа́л и помога́л подня́ть её, не боя́сь запа́чкать своё пла́тье. А, гла́вное, я жил на свой со́бственный счёт и никому́ не был в тя́гость!

Когда́ я возвраща́лся с рабо́ты домо́й, то все́ э́ти, кото́рые сиде́ли у воро́т на ла́вочках, все прика́зчики, мальчи́шки и их хозя́ева пуска́ли мне вслед ра́зные замеча́ния, насме́шливые и зло́бные, и э́то на пе́рвых пора́х волнова́ло меня́ и каза́лось про́сто чудо́вищным. И никто́ не относи́лся ко мне так неми́лостиво, как име́нно те, кото́рые ещё так неда́вно са́ми бы́ли просты́ми людьми́ и добыва́ли себе́ кусо́к хле́ба чёрным трудо́м. В торго́вых ряда́х, когда́ я проходи́л ми́мо желе́зной ла́вки, меня́, ка́к бы неча́янно, облива́ли водо́й, и раз да́же швырну́ли в меня́ па́лкой. А мои знако́мые при встре́чах со мно́ю почему́-то конфу́-

зились. Одни́ смотре́ли на меня́, как на чудака́ и шута́, други́м было жаль меня́, тре́тьи же не зна́ли, как относи́ться ко мне́, и поня́ть их было тру́дно. Встава́л я ка́ждый день до восхо́да со́лнца; ложи́лся ра́но. Ели мы, маляры́, о́чень мно́го и спа́ли кре́пко, и то́лько почему́-то по ноча́м си́льно би́лось се́рдце. С това́рищами я не ссо́рился. Брань, отча́янные кля́твы и поже-ла́ния вро́де того́, наприме́р, что́бы ло́ппули глаза́ или схва-ти́ла холе́ра, не прекраща́лись весь день; но, тем не ме́нее, всё таки́ жи́ли мы между́ собо́ю дру́жно. Ребя́та подозрева́ли во мне религио́зного секта́нта и доброду́шно подшу́чивали на́до мно́ю, говоря́, что от меня́ да́же родно́й отец отказа́лся, и тут же рас-ска́зывали, что са́ми они́ ре́дко загля́дывают в храм бо́жий, и что мно́гие из них по десяти́ лет на духу́ не быва́ли, и тако́е своё беспу́тство опра́вдывали тем, что маля́р среди́ люде́й всё ра́вно, что га́лка среди́ птиц. Ребя́та уважа́ли меня́ и относи́-лись ко мне с почте́нием; им, очеви́дно, нра́вилось, что я не пью, не курю́ и веду́ ти́хую, степе́нную жизнь. Их то́лько не-прия́тно шоки́ровало, что я не уча́ствую в кра́же оли́фы и вме́сте с ни́ми не хожу́ к зака́зчикам проси́ть на чай. До́ма у свои́х я не быва́л. Возвраща́ясь с рабо́ты, я ча́сто находи́л у себя́ за-пи́ски, коро́тенькие и трево́жные, в кото́рых сестра́ писа́ла мне об отце́: то он был за обе́дом ка́к-то осо́бенно заду́мчив и ни-чего́ не ел, то пошатну́лся, то заперся́ у себя́ и до́лго не выхо-ди́л. Таки́е изве́стия волнова́ли меня́, я не мог спать и, случа́-лось да́же, ходи́л но́чью ми́мо на́шего до́ма́, вгля́дываясь в тё́м-ные о́кна и стара́ясь угада́ть, всё ли до́ма благополу́чно. По воскресе́ньям приходи́ла ко мне́ сестра́, но укра́дкой, бу́дто не ко мне, а к ня́ньке. И е́сли входи́ла ко мне, то о́чень бле́дная, с запла́канными глазами, и то́тчас же начина́ла пла́кать.

В одно́ из воскресе́ний ко мне неожи́данно яви́лся мой зна-ко́мый до́ктор. Я ему́ и́скренно обра́довался. Мы разговори́лись, и когда́ у нас зашла́ речь о физи́ческом труде́, то я вы́разил таку́ю мысль: ну́жно, что́бы си́льные не порабоща́ли сла́бых, что́бы меньшинство́ не́ было для большинства́ парази́том или насо́сом, выса́сывающим из него́ хрони́чески лу́чшие со́ки; то-есть, ну́жно, что́бы все без исключе́ния—и си́льные и сла́бые, бога́-тые и бе́дные, равноме́рно уча́ствовали в борьбе́ за существова́-ние, ка́ждый сам за себя́, а в это́м отноше́нии нет лу́чшего ни-велли́рующего сре́дства, как физи́ческий труд, в ка́честве о́бщей для всех обяза́тельной пови́нности.

— Ста́ло-быть, по-ва́шему, физи́ческим трудо́м должны́ за-нима́ться все без исключе́ния?—спроси́л до́ктор.

— Да́—отве́тил я. Пото́м заговори́ли о постепе́нности. Я сказа́л, что вопро́с- де́лать добро́ и́ли зло́, ка́ждый реша́ет сам

за себя́, не дожида́ясь, когда́ челове́чество подойдёт к реше́нию э́того вопро́са путём постепе́нного разви́тия. К тому́ же постепе́нность—па́лка о двух конца́х. Ря́дом с проце́ссом постепе́нного разви́тия иде́й гума́нных наблюда́ется и постепе́нный рост иде́й ино́го ро́да. Крепостно́го пра́ва нет, зато́ растёт капитали́зм. И в са́мый разга́р освободи́тельных иде́й, так же, как во времена́ Баты́я, большинство́ ко́рмит, одева́ет и защища́ет меньшинство́, остава́ясь само́ голо́дным, раздéтым и беззащи́тным. Тако́й поря́док прекра́сно ужива́ется с каки́ми уго́дно ве́яниями и тече́ниями.

Но вот пришла́ и сестра́. Мы пошли́ в по́ле и, расположи́вшись на траве́, продолжа́ли на́ш разгово́р и смотре́ли на го́род, где все о́кна, обращённые на за́пад, каза́лись я́рко золоты́ми от того́, что заходи́ло солнце.

А. П. Че́хов.

---

8. Го́ре то́каря.

То́карь Григо́рий Петро́в, изда́вна изве́стный за великоле́пного ма́стера и в то же вре́мя за са́мого непутёвого мужи́ка во всей Га́лчинской во́лости, везёт свою́ больну́ю стару́ху в зе́мскую больни́цу. Ну́жно ему́ прое́хать вёрст три́дцать, а между́ тем доро́га ужа́сная, с кото́рой не спра́виться казённому почтарю́, а не то что тако́му лежебо́ке, как то́карь Григо́рий. Пря́мо навстре́чу бьёт ре́зкий, холо́дный ве́тер. В во́здухе, куда́ ни взгля́нешь, кружа́тся це́лые облака́ снежи́нок, так что не разберёшь, идёт ли снег с не́ба и́ли с земли́. За сне́жным тума́ном не ви́дно ни по́ля, ни телегра́фных столбо́в, ни ле́са; а когда́ на Григо́рия налета́ет осо́бенно си́льный поры́в ве́тра, тогда́ не быва́ет ви́дно да́же дуги́. Дря́хлая, слабоси́льная кобы́лка плетётся е́ле—е́ле. Вся эне́ргия её ушла́ на выта́скивание ног из глубо́кого сне́га и подёргивание голово́й. То́карь торо́пится. Он беспоко́йно пры́гает на облучке́ и то и де́ло хлещет по лошади́ной спине́.—„Ты, Матрёна, не плачь...“—бормо́чет он.—„Потерпи́ ма́лость. В больни́цу, бог даст, прие́дем. Даст тебе́ Па́вел Ива́ныч ка́пелек, и́ли кровь пусти́ть прика́жет, и́ли, мо́жет, ми́лости его́ уго́дно бу́дет спи́ртиком каки́м тебя́ растере́ть, оно́ и тово́... оття́нет от бо́ка. Па́вел Ива́ныч постара́ется“... То́карь хлещет по лошадёнке и, не глядя́ на стару́ху, продолжа́ет бормота́ть себе́ по́д нос. И то́карь бормо́чет без конца́. Болта́ет он языко́м машина́льно, чтоб хоть немно́го заглуши́ть своё тяжёлое чу́вство. Слов на языке́ мно́го, но мы́слей и вопро́сов в голове́ ещё бо́льше. Го́ре заста́ло то́каря врасплох, нежда́нно—нега́данно, и тепе́рь он ника́к не мо́-

жет очну́ться, придти́ в себя́, сообрази́ть. Жил досе́ле безмяте́жно, ро́вно в пья́ном полузабытье́, не зна́я ни го́ря, ни ра́до́стей, и вдруг чу́вствует тепе́рь в душе́ ужа́сную боль. Беспе́чный лежебо́ка и пьянчу́жка очути́лся ни с того́, ни с сего́ в положе́нии челове́ка занято́го, озабо́ченного, спеша́щего и да́же бо́рющегося с приро́дой. То́карь по́мнит, что го́ре начало́сь со вчера́шнего ве́чера. Когда́ ве́чером вороти́лся он домо́й, по обыкнове́нию пья́неньким, и по застаре́лой привы́чке на́чал брани́ться и маха́ть кулака́ми; стару́ха взгляну́ла на своего́ буя́на так, как ра́ньше никогда́ не гляде́ла. Обыкнове́нно, выраже́ние её ста́рческих глаз бы́ло му́ченическое, кро́ткое, как у соба́к, кото́рых мно́го бьют и пло́хо ко́рмят; тепе́рь же она́ гляде́ла суро́во и неподви́жно, как глядя́т святые на ико́нах, и́ли умира́ющие. С э́тих стра́нных, нехоро́ших глаз и начало́сь го́ре. Ошале́вший то́карь вы́просил у сосе́да лошадёнку и тепе́рь везёт стару́ху в больни́цу, в наде́жде, что Па́вел Ива́нович порошка́ми и ма́зями возврати́т стару́хе её пре́жний взгляд.

— „Ты же, Матре́на, тово́...“—бормо́чет он.—„Что́, боли́т бок? Матрёна, что же ты молчи́шь? Я тебя́ спра́шиваю: боли́т бок?“ — Стра́нно ему́ ка́жется, что на лице́ у стару́хи не та́ет снег; стра́нно, что само́ лицо́ ка́к-то осо́бенно вы́тянулось, при́няло бле́дно-се́рый, гря́зно-восково́й цвет и ста́ло стро́гим, серьёзным. То́карь опуска́ет во́жжи и заду́мывается. Огляну́ться на стару́ху он не реша́ется: стра́шно! Зада́ть ей вопро́с и не получи́ть отве́та то́же стра́шно. Наконе́ц, что́бы поко́нчить с неизве́стностью, он, не огля́дываясь на стару́ху, нащу́пывает её холо́дную ру́ку. По́днятая рука́ па́дает, как плеть.—„Померла́, ста́ло-быть“.—И то́карь пла́чет. Ему́ не так жа́лко, как доса́дно. Он ду́мает: как на э́том све́те всё бы́стро де́лается! Не успе́ло ещё нача́ться его́ горе́, как уже́ гото́ва развя́зка. Не успе́л он пожи́ть с стару́хой, вы́сказать ей, пожа́леть её, как она́ уже́ умерла́. Жил он с не́ю со́рок лет, но ведь э́ти со́рок лет прошли́, сло́вно в тума́не. За пья́нством, дра́ками и нуждо́й не чу́вствовалась жи́знь. И как на зло, стару́ха умерла́ как раз в то са́мое вре́мя, когда́ он почу́вствовал, что жале́ет её, жить без неё не мо́жет, стра́шно винова́т пе́ред ней. Вспомина́ет он, что Матрёна лет со́рок тому́ наза́д была́ молодо́й и краси́вой, весёлой, из бога́того до́ма. Вы́дали её за́муж потому́, что польсти́лись на его́ мастерство́. Все да́нные бы́ли для хоро́шего житья́, но бе́да в том, что он как напился́ после сва́дьбы, завали́лся на пе́чку, так сло́вно и до сих пор не просыпа́лся. Сва́дьбу он по́мнит, а что бы́ло по́сле сва́дьбы—хоть убей, ничего́ не по́мнит, кро́ме, ра́зве, того́, что пил, лежа́л, дра́лся. Так и пропа́ли со́рок лет.

А. П. Че́хов.

---

9. Загу́бленный тала́нт.

С де́тских лет Ва́ня не́ был похо́ж на то, что его окружа́ло. Сло́вно испуга́вшись того́ бу́йства и произво́ла, кото́рые цари́ли в его́ семье́, он как бу́дто бы отверну́лся о́то всех, притаи́лся и пошёл свое́й доро́гой. У него́ ста́ла развива́ться стра́сть к му́зыке. Михаи́л Ива́ныч по́мнил, как, быва́ло, ра́нним у́тром ма́ленький, белоку́рый, о́чень похо́жий на то́щего котёнка, Ва́ня, боя́сь испуга́ть родны́х, осторо́жно пили́кает где-нибу́дь в уголке́ на жёлтенькой скри́пке, ку́пленной в игру́шечной ла́вке за двугри́венный. Но в э́том ми́ре грабежа́ и весёлого житья́ тако́е де́ло ма́льчика никому́ не казало́сь де́лом. Смуры́ганье нетвёрдого и дрянно́го смычка́, пыта́вшегося извле́чь из дрянны́х струн и из дрянно́го инструме́нта „Во́зле ре́чки,“ непреме́нно сопровожда́лось колоту́шками, дёрганьем за́ ухо, уда́ром в заты́лок. Мать говори́ла: „Что ты, очуме́л, под воскресе́нье?“—и хло́пала по заты́лку; то же са́мое де́лали бра́тья, не гово́ря ни сло́ва; то же са́мое де́лал оте́ц, говоря́: „учи́лся бы лу́чше, по два го́да сиди́шь в кла́ссе.“ Но поволо́чки э́ти остава́лись без отве́та со стороны́ Ва́ни. Уда́р в го́лову заставля́л его́ жму́рить глаза́, ка́плями по́та покрыва́л его́ лоб с прили́пнувшими белоку́рыми волоса́ми; голова́ его, отдёрнутая за́ ухо, сно́ва ещё́ плотне́е прилипа́ла подборо́дком к гри́фу скри́пки, и смычо́к всё-таки пили́л ти́хо, едва́ слы́шно; но рука́, держа́вшая его́, су́дорожно сжима́ла его́. Э́такое упря́мство вооружа́ло про́тив него́ родны́х. Оте́ц Ва́ни в благода́рность за то, что нача́льство отличи́ло его́, дав тёплое ме́сто, хоте́л всех дете́й пове́ргнуть на по́льзу оте́чества и заста́вил Ва́ню служи́ть, когда́ е́му бы́ло не бо́лее шестна́дцати лет. Духота́ канцеля́рии, интере́сы чино́вников бы́ли соверше́нно несхо́жи с тем настрое́нием ду́ха Ва́ни, кото́рое образова́ла в нем стра́сть. Он му́чился э́той канцеля́рией, терпе́л ты́сячи оскорбле́ний, чах в постоя́нных попрёках его глу́пости, срамя́щей отца́, и всё молча́л, и всё би́лся вперёд. Пря́мо из канцеля́рии он бежа́л к полковы́м музыка́нтам, заводи́л дру́жбу со вся́ким скрипачо́м, до́лго корпе́л по ноча́м, спи́сывая но́ты. Каки́х трудо́в стои́ла ему́ нова́я поря́дочная скри́пка, ско́лько ну́жно бы́ло вре́мени жда́ть, пока́ соберётся де́сять целко́вых на её поку́пку, так как мать Ва́ни отбира́ла у него́ всё жа́лованье, оставля́я на э́тот предме́т полти́нник в ме́сяц. Его́ называ́ли „гудо́шник,“ „скоморо́х“. Тя́жкая боле́знь заста́вила обрати́ть на него́ внима́ние роди́телей. Им бы́ло жаль его́, как сына́, тем бо́лее, что до отца́ ста́ли доходи́ть слу́хи о его тала́нте: кака́я-то прие́зжая знамени́тость случа́йно услы́шала его́ и протруби́ла о нём в пло́ть до ску́дного тала́нтами Петербу́рга, припи́сывая себе́ честь откры́тия. Знаме-

ни́тость переры́ла его́ но́ты, кото́рые он тща́тельно сохрани́л в своём уголке́, и откопа́ла каки́е то компози́ции, в кото́рых оказа́лось про́пасть но́вого. О Ва́не заговори́ло музыка́льное о́бщество го́рода. Ва́ню тащи́ли в свет:—его́ оте́ц начина́л гла́дить по голо́вке. Но Ва́ню уби́ла ра́дость, кото́рую он перенёс в э́ти мину́ты; в о́бществе он теря́лся, де́лался дурако́м, и больна́я фигу́ра его́, с запу́ганными глаза́ми, с стра́нными смешны́ми уса́ми, в ста́ром, за́дешево ку́пленном фра́ке, была́ не бо́льше, как смешна́. И Ва́ня лежа́л и умира́л.

Глеб Успе́нский.

---

10. Борьба́ челове́ка с мо́рем.

Пе́редо мно́й разверну́лась широ́кая карти́на труда́ люде́й: весь камени́стый бе́рег пе́ред бу́хтой был взры́т, всю́ду я́мы и ку́чи ка́мня и де́рева, та́чки, брёвна, по́лосы желе́за, копры́ для битья́ сва́й и ещё каки́е то приспособле́ния из брёвен; и среди́ всего́ э́того по всем направле́ниям снова́ли лю́ди. Они, разорва́в го́ру динами́том, дроби́ли её ки́рками, расчища́я пло́щадь для ли́нии желе́зной доро́ги; они́ меси́ли в грома́дных твори́лах це́мент и, де́лая из него́ почти́ сажённые куби́ческие ка́мни, опуска́ли их в мо́ре, стро́я в нём опло́т про́тив титани́ческой си́лы его́ неугомо́нных волн. Они́ каза́лись ма́ленькими, как че́рви, на фо́не тёмно кори́чневой горы́, изуро́дованной их рука́ми, и, как че́рви, суетли́во копоши́лись среди́ груд ще́бня и куско́в де́рева в обло́мка́х ка́менной пы́ли и в тридцатигра́дусном зно́е ю́жного дня. Хао́с вокру́г них и раскалённое не́бо над ни́ми придава́ли их суете́ тако́й вид, как бу́дто бы они́ вка́пывались в го́ру, стремя́сь уйти́ в не́дра её от со́лнечного зно́я и окружа́ющей их уны́лой карти́ны разруше́ния.

В ду́шном во́здухе стоя́л си́льный сто́нущий ро́пот и гул; раздава́лись уда́ры ки́рок о ка́мень; зауны́вно пе́ли колёса та́чек; глу́хо па́дала чугу́нная ба́ба на де́рево сва́и, пла́кала „Дуби́нушка,“ стуча́ли топоры́, отёсывая брёвна, и на все голоса́ крича́ли тёмные и се́рые хлопотли́вые фигу́рки люде́й...

В одно́м ме́сте ку́чка их, гро́мко у́хая, вози́лась с больши́м оско́лком горы́, стара́ясь сдви́нуть его́ с ме́ста, в друго́м—поднима́ли тяжёлое бревно́ и, надрыва́ясь, крича́ли:

— Бе-е-ри́—и!—И гора́, изры́тая тре́щинами, глу́хо повторя́ла: и—и и!

По ло́манной ли́нии досо́к, набро́санных тут и там, ме́дленно дви́галась верени́ца люде́й, согну́вшись над та́чками, нагру-

жёнными ка́мнем, и навстре́чу им шла друга́я—с поро́жними та́чками; шла, ме́дленно растя́гивая одну́ мину́тку о́тдыха на́ две....

На всех то́чках пло́щади между́ горо́й и мо́рем снова́ли ма́ленькие се́рые лю́ди. Среди́ них расха́живали распоряди́тели в бе́лых ки́телях с металли́ческими пу́говицами, сверка́вшими на со́лнце, как чьи-то жёлты́е, холо́дные глаза́.

Мо́ре споко́йно раски́нулось до тума́нного горизо́нта и ти́хо плёщет свои́ми прозра́чными волна́ми на́ берег, по́лный движе́ния и шу́му. Оно́ лежа́ло, ослепля́я глаза́ свои́м бле́ском, большо́е, си́льное, до́брое, и его могу́чее дыха́ние ве́яло на́ бе́рег, освежа́я истомлённых люде́й, тру́дящихся над тем, что́бы стесни́ть свобо́ду его́ во́лн, кото́рые тепе́рь так кро́тко и зву́чно ласка́ют изуро́дованный бе́рег. Оно́ как бы жале́ло их: века́ его существова́ния научи́ли его понима́ть, что не те злоумышля́ют про́тив него́, кото́рые стро́ят; оно́ давно́ уже́ зна́ет, что э́то то́лько рабы́, их роль боро́ться со стихи́ями лицо́м к лицу́; а в э́той борьбе́ гото́ва и месть стихи́и им. Они́ все то́лько стро́ят, ве́чно труди́тся; их пот и кровь—це́мент всех сооруже́ний на земле́; но они́ ничего́ не получа́ют за э́то, отдава́я все свои́ си́лы ве́чному стремле́нию сооружа́ть; стремле́нию, кото́рое создаёт на земле́ чудеса́, но всё-таки не даёт лю́дям кро́ва, и сли́шком ма́ло даёт им хле́ба. Они—то́же стихи́я, и вот почему́ мо́ре не гне́вно, а ла́сково смо́трит на их труд, от кото́рого им нет по́льзы. Эти се́рые ма́ленькие че́рви, так источи́вшие го́ру, то же са́мое, что и его́ ка́пли, кото́рые пе́рвыми иду́т на непристу́пные и холодные ска́лы берего́в, в ве́чном стремле́нии мо́ря расши́рить свои́ преде́лы, и пе́рвыми ги́бнут, разбива́ясь о них. В ма́ссе э́ти ка́пли то́же ро́дственны ему́, тогда́ они́ совсе́м, как мо́ре, так же мо́щны и так же скло́нны к разруше́нию, чуть то́лько ве́яние бу́ри пронесётся над ни́ми.

И, улыба́ясь споко́йной улы́бкой тита́на, созна́вшего свою́ мощь, мо́ре овева́ло свои́м живи́тельным дыха́нием тита́на, ещё духо́вно слепо́го, порабощённого и жа́лко ковыря́ющего зе́млю, вме́сто то́го, чтоб стреми́ться к родству́ с не́бом. Ти́хо взбега́ют во́лны на бе́рег, усе́янный толпо́й люде́й, созида́ющих ка́менную прегра́ду их ве́чному движе́нию, взбега́ют и пою́т свою́ зву́чную, ла́сковую пе́сню о про́шлом, о всём, что в тече́ние веко́в ви́дели они́ на берега́х земли́.

М. Го́рький.

---

11. Челове́к—всё победи́т.

Си́нее споко́йное о́зеро в глубо́кой ра́ме гор, окрылённых ве́чным сне́гом; тёмное кру́жево садо́в пы́шными скла́дками опуска́ется к воде́; с бе́рега смо́трят в во́ду бе́лые дома́; ка́жется, что они́ постро́ены из са́хара; и всё вокру́г похо́же на ти́хий сон ребёнка. Утро. С гор ла́сково течёт за́пах цвето́в; то́лько что взошло́ со́лнце, и на ли́стьях дере́вьев, на сте́блях трав ещё блести́т роса́. Се́рая ле́нта доро́ги бро́шена в ти́хое уще́лье гор; доро́га мощёна ка́мнем, но ка́жется мя́гкой, как ба́рхат; и почему́-то хо́чется её погла́дить руко́ю. Около гру́ды щебня сиди́т чёрный, как жук, рабо́чий; на груди́ у него́ меда́ль; лицо́ серьёзное, сме́лое и ла́сковое. Положи́в бро́нзовые ки́сти рук на коле́ни свои́, приподня́в го́лову, он смо́трит в лицо́ прохо́жего, стоя́щего под кашта́ном, говоря́ ему́:—Это—за Симпло́н, синьо́р; это меда́ль за рабо́ту в Симпло́нском тунне́ле.—И, опусти́в глаза́ на гру́дь, ла́сково усмеха́ется краси́вому куску́ мета́лла.—Э, вся́кая рабо́та трудна́ до вре́мени, пока́ её не полю́бишь, а пото́м она́ возбужда́ет и стано́вится ле́гче. Всё-таки—да, бы́ло тру́дно.— Он тихо́нько покача́л голово́ю, улыба́ясь со́лнцу, внеза́пно оживи́лся, взмахну́в руко́ю; чёрные глаза́ заблесте́ли.—Бы́ло да́же стра́шно иногда́. Ведь и земля́ должна́ что-нибу́дь чу́вствовать—не та́к ли? Когда́ мы вошли́ в неё глубоко́, проре́зав в горе́ э́ту ра́ну,—земля́ там, внутри́, встре́тила нас суро́во. Она дыша́ла на нас жа́рким дыха́нием; от него́ замира́ло се́рдце; голова́ станови́лась тяжеле́й, и боле́ли ко́сти... Это испы́тано мно́гими. Пото́м она́ сбра́сывала на люде́й ка́мни и облива́ла их горя́чей водо́й... да... Это бы́ло о́чень стра́шно. Потому́ что поро́ю при огне́ вода́ стано́вится кра́сной, и оте́ц мой говори́л мне: ра́нили мы зе́млю, и пото́пит, сожжёт она нас всех свое́ю кро́вью, ты уви́дишь. Коне́чно, э́то—фанта́зия, но когда́ таки́е слова́ слы́шишь глубоко́ в земле́, среди́ сыро́й, ду́шной тьмы́, плачёвного хлю́панья воды́ и скре́жета желе́за о ка́мень,—немно́го забыва́ешь о фанта́зиях. И там всё бы́ло фантасти́чно, дорого́й синьо́р: мы, лю́ди, таки́е ма́ленькие, и она́, э́та гора́ до небе́с,—гора́, кото́рой мы сверли́ли чре́во... Это на́до ви́деть, что́бы поня́ть. На́до ви́деть чёрный зев, проре́занный на́ми. ма́леньких люде́й, входя́щих в него́ у́тром на восхо́де со́лнца; а со́лнце смо́трит печа́льно в след уходя́щим от него́ в не́дра земли́... на́до ви́деть на́ши маши́ны и угрю́мое лицо́ горы́... и слы́шать тёмный гул глубоко́ в ней; и эти взры́вы, то́чно хо́хот безу́много.

Он осмотре́л свои́ ру́ки, попра́вил на си́ней ку́ртке жето́н, тихо́нько вздохну́л.

— Челове́к уме́ет рабо́тать,—продолжа́л он с я́вной го́рдостью.—О, синьо́р, ма́ленький челове́к, когда́ он хо́чет рабо́тать,—непобеди́мая си́ла. И пове́рьте: в конце́ концо́в э́тот ма́ленький челове́к сде́лает всё, чего́ хо́чет. Мой оте́ц снача́ла не ве́рил в э́то:

„Проре́зать го́ру насквозь из страны́ в страну́,—говори́л, он,—это про́тив бо́га, раздели́вшего зе́млю стена́ми гор; вы уви́дите, что Мадо́нна бу́дет не с на́ми“. Он оши́бся, стари́к: Мадо́нна была́ со все́ми, кто лю́бит её. Поздне́е оте́ц то́же стал ду́мать почти́ так же, как вот я говорю́ вам, потому́ что почу́вствовал себя́ вы́ше, сильне́е горы́; но бы́ло вре́мя, когда́ он по пра́здникам, си́дя за столо́м пе́ред буты́лкой вина́, внуша́л мне и други́м:

— Де́ти бо́га,—э́то люби́мая его́ погово́рка, потому́ что он был до́брый и религио́зный челове́к,—де́ти бо́га, так нельзя́ боро́ться с землёй, она́ отомсти́т за свои́ ра́ны и оста́нется непобеждённой. Вот вы уви́дите: просверли́м мы го́ру до се́рдца, и, когда́ коснёмся его́, оно сожжёт нас; оно́ бро́сит в нас ого́нь, потому́ что се́рдце земли́—о́гненное, это зна́ют все. Возде́лывать зе́млю—э́то так; помога́ть её ро́дам—э́то нам запове́дано; а мы вот искажа́ем её лицо́, её фо́рмы. Смотри́те: чем да́льше врыва́емся мы в го́ру, тем горяче́й во́здух и трудне́е дыша́ть...

Челове́к тихо́нько засмея́лся, подкру́чивая усы́ па́льцами обе́их рук.

— Не оди́н он ду́мал так; и ве́рно э́то бы́ло: чем да́льше, тем горяче́е станови́лось в тунне́ле, тем бо́льше хвора́ло и па́дало в зе́млю люде́й. И всё сильне́е текли́ горя́чие ключи́, осыпа́лась поро́да; а дво́е на́ших, из Луга́но, сошли́ с ума́. И ноча́ми в каза́рме у нас мно́гие бре́дили, стона́ли и вска́кивали с посте́лей в не́коем у́жасе...

— Ра́зве я не пра́в?—говори́л оте́ц, со стра́хом в глаза́х и ка́шляя все ча́ще, ча́ще, глу́ше... да.—Ра́зве я не пра́в?—говори́л оте́ц.—Это непобеди́мо, земля́.

И, наконе́ц, лёг, что́бы уже́ не вста́ть никогда́. Он был кре́пок, мой стари́к; он бо́льше трёх неде́ль спо́рил со сме́ртью, упо́рно, без жа́лоб, как челове́к, кото́рый зна́ет себе́ це́ну.

— Моя́ рабо́та ко́нчена, Па́оло,—сказа́л он мне одна́жды но́чью.—Береги́ себя́ и возвраща́йся домо́й, да сопу́тствует тебе́ Мадо́нна.

Пото́м до́лго молча́л, закры́в глаза́, задыха́ясь.

Челове́к вста́л на́ но́ги, огляде́л го́ры и потяну́лся с тако́й си́лой, что затреща́ли сухожи́лья.

Взял за́ ру́ку меня́, привлёк к себе́ и говори́т:

— Свята́я пра́вда, синьо́р.

Человéк свéтло улыбáлся.

— Знáешь, Пáоло, сын мой,—сказáл он,—я всё-таки думаю, что э́то соверши́тся: мы и те, что иду́т с другóй стороны́, найдём друг дру́га в горé, мы встрéтимся. Ты вéришь в э́то?

— Я вéрю.

— Хорошó, сын мой. Так и нáдо: всё нáдо дéлать с вéрой в блáгостный исхóд и в бóга, котóрый помогáет моли́твами Мадóнны дóбрым делáм. Я прошу́ тебя́, сын, éсли э́то случи́тся, éсли сойду́тся лю́ди,—приди́ ко мнé на моги́лу и скажи́: отéц, сдéлано! Чтóбы я знáл.

— Это бы́ло хорошó, дорогóй синьóр, и я обещáл ему́. Он у́мер чéрез пять днéй пóсле э́тих слóв, а зá два дня до смéрти проси́л меня́ и други́х, чтоб егó зары́ли там, на мéсте, где он рабóтал в туннéле... óчень проси́л, но э́то уж был бред, я ду́маю...

— Мы и те, что шли́ с другóй стороны́, встрéтились в горé чéрез тринáдцать недéль пóсле смéрти отцá; э́то был безу́мный дени, синьóр. О, когдá мы услы́шали там, под землёю, во тьмé, шум другóй рабóты, шум иду́щих навстрéчу нам под землёю,—вы пойми́те, синьóр, под огрóмною тя́жестью земли́, котóрая моглá бы, если б моглá, раздави́ть нас, мáленьких, всех срáзу.

— Мнóго дней слы́шали мы э́ти зву́ки, таки́е гу́лкие; с кáждым днём они́ станови́лись все поня́тнее, яснée, и нáми овладевáло рáдостное бéшенство победи́телей... Мы рабóтали, как злы́е ду́хи, как бесплóтные, не ощущáя устáлости, не трéбуя указáний... Это бы́ло хорошó, как тáнец в сóлнечный день, чéстное слóво! И все мы стáли так ми́лы и дóбры, каки́ми бывáют дéти. Ах, если б вы знáли, как си́льно, как нестерпи́мо стрáстно желáние встрéтить человéка во тьмé, под землёй, кудá ты, тóчно крот, врывáлся дóлгие мéсяцы!

Он весь вспы́хнул, подошёл вплоть к слу́шателю и, загля́дывая в глазá ему́ свои́ми глубóкими человéчьими глазáми, ти́хо и рáдостно продолжáл:

— А когдá, наконéц, ру́шился пласт порóды и в отвéрстии засверкáл крáсный огóнь фáкела и чьё-то чёрное, обли́тое слезáми и пóтом лицó, и ещё фáкелы, и ли́ца, и загремéли кри́ки побéды, кри́ки рáдости... О, э́то—лу́чший день моéй жи́зни; и, вспоминáя егó, я чу́вствую—нет, я не дáром жил. Былá рабóта, моя́ рабóта, свя́тая рабóта, синьóр, говорю́ я вам, да!

— И когдá мы вы́шли из-под земли́ на сóлнце, то мнóгие ложи́лись нá зéмлю гру́дью, целовáли её, плáкали, и э́то бы́ло так хорошó, как хорошá скáзка. Да, целовáли побеждённую гóру, целовáли зéмлю,—в тот день осóбенно близкá и поня́тна стáла

она́ мне, синьо́р, и полюби́л я её, как же́нщину,—Коне́чно, я пошёл к отцу́... о, да! Коне́чно... Хотя́ я зна́ю, что мёртвые не мо́гут ничего́ слы́шать, но я пошёл: на́до уважа́ть жела́ния тех, кто труди́лся для нас и не ме́нее нас страда́л,—не та́к ли?—Да, да, я пошёл к нему́ на моги́лу, постуча́л о зе́млю ного́й и сказа́л, как он жела́л э́того:

— Оте́ц, сде́лано!—ска́зал я.—Лю́ди победи́ли. Сде́лано, оте́ц!

М. Го́рький.

---

12. Дарови́тый ма́льчик.

В одно́м селе́нии жил ста́рик Ива́н с свои́м вну́ком Не́лло. Они́ жи́ли бе́дно. Не́лло вози́л на прода́жу молоко́ в го́род, и тем они корми́лись. Еди́нственным дру́гом Не́лло была́ его́ соба́ка Патра́ш. Не́лло запряга́л соба́ку в ма́ленькую теле́жку и на ней вози́л молоко́ в го́род.

— Я бы споко́йно сошёл в моги́лу, Не́лло,—говори́л иногда́ ста́рый Ива́н,—если бы я знал, что у тебя́ бу́дет всегда́ своя́ хи́жина и свой кусо́к земли́.

Ста́рому Ива́ну каза́лось вы́сшим блаже́нством име́ть своё хозя́йство, и ничего́ лу́чшего он не мог приду́мать для своего́ люби́мца. Но Не́лло не влекло́ к се́льской жи́зни: он мечта́л сде́латься худо́жником. Пе́ред ни́м носи́лись чу́дные о́бразы; его́ волнова́ло всё, что бы́ло прекра́сно.

Но таки́е мечты́ тру́дно переда́ть слова́ми, да и не вся́кий поймёт их. Если бы стари́к знал о сна́х Не́лло, он бы о́чень смути́лся и встрево́жился. Он, ведь, ничего́ не понима́л в иску́сстве и счита́л гру́бые лубо́чные карти́нки таки́ми же краси́выми, как са́мые чу́дные карти́ны како́го-нибу́дь вели́кого худо́жника.

Стари́к ча́сто гова́ривал вну́ку: „Мы бедны́ и должны́ быть дово́льны ма́лым“.

Ма́льчик всегда́ выслу́шивал э́ти слова́ мо́лча, потому́ что он глубоко́ почита́л своего́ ста́рого де́да; но кака́я-то сму́тная, сла́дкая наде́жда шепта́ла ему́ на́ у́хо: „Бедняки́, вопреки́ судьбе́, мо́гут сде́латься вели́кими“.

Ему грёзилось счастли́вое бу́дущее. Вот он дости́г сла́вы; его́ все зна́ют, все ра́достно встреча́ют, и крестья́не ше́пчут друг дру́гу: „Смотри́те, это—вели́кий худо́жник! Его и́мя изве́стно всему́ ми́ру; а ведь э́то был наш бе́дный, ма́ленький Не́лло, кото́рый вози́л с соба́кой молоко́ в го́род“. И вот он оде́нет ста́рого де́да в прекра́сную тёплую шу́бу, а соба́ке ку́пит золото́й оше́йник и ска́жет: „Вот мой това́рищ, вот тот, кто был еди́н-

ственным моим другом“. Тогда он выстроит большой, белый мраморный дворец среди роскошных садов, и там будут жить все бедные, брошенные дети, все одинокие способные юноши, стремящиеся к хорошему и прекрасному, потому что он хочет, чтобы все были счастливы.

У Нелло была одна тайна, о которой знал только Патраш. Их хижина имела маленькую пристройку. Здесь он на большом листе простой серой бумаги изобразил одну из бесчисленных своих фантазий. Никто его никогда ничему не учил; краски ему было не на что купить; он часто лишал себя хлеба, чтобы только достать бумаги; а рисовать он мог только чёрным или белым. Он нарисовал мелом старого дровосека, сидящего на пне. Он часто видел, как дядя Михей так сидел по вечерам.

Конечно, картина имела много недостатков, но всё же она была жива и прекрасна, как сама жизнь. У него была надежда — послать этот рисунок в город на состязание. В городе было об‘явлено, что каждый талантливый мальчик моложе восемнадцати лет может представить свою работу мелом или карандашом, и что за лучший рисунок будет дана награда в двести рублей. Судьями были назначены три лучших художника столицы.

Всю весну, всё лето и всю осень Нелло работал над картиной. Она должна была, в случае успеха, дать ему возможность изучить искусство.

Он никому ничего об этом не говорил: его дед не понял бы его. Только Патраш, постоянно присутствовавший при его работе, знал его тайну.

Рисунки должны быть присланы первого декабря, а решение будет об‘явлено двадцать четвертого, в сочельник.

В сумерки холодного зимнего дня, замирая от надежды и страха, Нелло свёз свою большую картину, с помощью Патраша, в город и оставил её, как было условлено, у дверей общественного здания.

„Может-быть, она никуда не годится“, думал он печально. Теперь, когда он оставил её там, ему показалась смешной и глупой мысль, что маленький, бедный, безграмотный мальчик мог сделать что-нибудь такое, на что взглянули бы великие художники.

Приближалось Рождество.

В это время года вся деревушка принимала весёлый и праздничный вид. В самых бедных домах ели пироги и лакомства, шутили, плясали. Везде звенели на лошадях весёлые бубенчики; в каждой избушке кипел и дымился горшок с супом, и только в одной маленькой хижине было темно и холодно.

Нéлло и Патрáш остáлись совсéм одни́ на свéте. Пéред сáмым Рождествóм смерть унеслá бéдного стáрого Ивáна. Он ужé давнó не мог дви́гаться и éле говори́л, но егó любóвь согревáла их; егó лáсковая улы́бка всегдá встречáла их, когдá они́ возвращáлись устáлые и голóдные. Егó смéрть стрáшно порази́ла их. Они́ óба плáкали, провожáя егó в э́тот зи́мний день до моги́лы у мáленькой цéркви. Крóме них никтó не пожáлел, никтó не вспóмнил дóброго бéдного старикá.

Нéлло и Патрáш грýстные возврати́лись домóй. Судьбá их преслéдовала: оказáлось, что они́ лишены́ послéднего утешéния— своéй бéдной хи́жины. Они́ задолжáли хозя́ину за цéлый мéсяц, и он их вы́гнал вон. Пóсле пóхорон у Нéлло не остáлось ни одногó грошá за душóй; он прóбовал проси́ть у хозя́ина отсрóчки, но грýбый и скупóй крестья́нин не соглашáлся ждать. В уплáту дóлга он зáбрал всю посýду, все пожи́тки и велéл на слéдующее ýтро очи́стить кварти́ру. Печáльную ночь провели́ мáльчик и собáка, си́дя обня́вшись в темнотé у погáсшего очагá.

Это был как раз сочéльник. Нéлло гóрько заплáкал, прижимáясь к своемý дрýгу.

— Пойдём, дорогóй Патрáш,—шептáл мáльчик,—пойдём, товáрищ, а то нас вы́гонят отсю́да!

Они дошли́ до гóрода, когдá городски́е часы́ би́ли дéсять.

В пóлдень должны́ бы́ли провозгласи́ть и́мя счастли́вого победи́теля, вы́игравшего наградý за рисýнок, и Нéлло напрáвился к томý общéственному здáнию, где он остáвил свою́ карти́ну. Там ужé стоя́ло мнóго нарóду. Он боязли́во пробрáлся вперёд, держáсь за Патрáша.

Больши́е городски́е часы́ грóмко прóбили двенáдцать. Открылись двéри, и толпá заволновáлась; всем бы́ло извéстно, чтó и́збранную карти́ну поды́мут над прóчими на деревя́нном шестé.

Тумáн заволóк глазá Нéлло, егó головá закружи́лась. Когдá он опрáвился немнóго, он уви́дел пóднятую карти́ну: э́то был чужóй, а не егó рисýнок. Нагрáду присуди́ли другóму.

Нéлло потеря́л сознáние, нóги егó подкоси́лись, и он упáл на кáменные ступéни здáния. Патрáш суети́лся óколо негó, старáясь привести́ егó в себя́, а вдали́ толпá ю́ношей провожáла рáдостными кри́ками своегó счастли́вого товáрища.

Когдá мáльчик очнýлся, он привстáл и óбнял собáку.

— Всё кóнчено, дорогóй Патрáш!—прошептáл он.—Всё кóнчено! Умрём вмéсте...

В отвéт на э́то Патрáш положи́л свою́ гóлову на грудь мáльчика. В егó больши́х тёмных глазáх стоя́ли слёзы...—Мы никомý не нужны́... Мы всéми поки́нуты...—гóрько шептáл Нéлло. Но в э́ту минýту к ним ужé приближáлся знамени́тый худóжник.—Я

ищу́ того́ замеча́тельного ма́льчика—говори́л он,—кото́рый до́лжен был бы по справедли́вости получи́ть награ́ду. Он нарисова́л о́чень просту́ю карти́ну—ста́рого дровосе́ка, но удиви́тельную по си́ле тала́нта. Я хочу́ взять э́того гениа́льного ма́льчика к себе́ и научи́ть его жи́вописи. Со вре́менем он бу́дет знамени́тостью. Для Не́лло занима́лась заря́ но́вой жи́зни.

Уайльд.

---

13. Ве́чный тру́женик.

Пе́тькин оте́ц пло́тничал, но всегда́ случа́лось как то так, что рабо́та ему́ выпада́ла в са́мое неподходя́щее вре́мя. Вся́кую настоя́щую рабо́ту обыкнове́нно успева́ют переде́лать за ле́то пло́тники при́шлые, лю́ди, зна́ющие своё де́ло. Пе́тькину отцу́ всегда́ достава́лось то, что не успе́ли переде́лать пло́тники запра́вские, т. е. ме́лочи и пустяки́: вста́вить в окно́ круг, испра́вить кры́шу, почини́ть по́греб. И всегда́ э́та недоде́ланная рабо́та доде́лывалась в са́мое неблагоприя́тное вре́мя: о́сенью, в хо́лод, в моро́з, в до́ждь и ве́тер. Серди́тый осе́нний ве́тер и серди́тый Пе́тькин оте́ц—о́ба как на грех всегда́ встреча́лись вме́сте на ничто́жном осе́ннем за́работке; моро́з то́чно наро́чно ско́вывает и без того́ бесси́льные ру́ки Пе́тькина отца́, и Пе́тькин оте́ц со зло́бой кое-как тя́пает топоро́м по де́реву, руга́я э́то де́рево.

На тако́й и́менно нескла́дной рабо́те Пе́тькина отца́ увида́ла впервы́е Пе́тьку на́ша учи́тельница. Гуля́ла она́ с детьми́ в холо́дный, моро́зный день и смотре́ла, как Пе́тькин оте́ц руга́ется на како́е то де́рево, кото́рое не поддаётся тупо́му топору́, и как он с се́рдцем плюёт на топо́р, кото́рый не ру́бит. Тут же стоя́л и смотре́л на рабо́ту своего́ отца́ Пе́тька. Он был одет в лохмо́тья, лицо́ у него́ бы́ло зелёное, то́щее и серди́тое.

Два дня рабо́тал у нас Пе́тькин оте́ц, и Пе́тька постоя́нно толка́лся о́коло него́, ще́пки подбира́л. Но и по́сле того́, как Пе́тькин оте́ц, по обыкнове́нию, сде́лав рабо́ту скве́рно, ушо́л,—Петька продолжа́л явля́ться на то́ ме́сто, где рабо́тал оте́ц и где валя́лись ще́пки. Жа́лко бы́ло смотре́ть на него́, ма́ленького, рва́ного, озя́блого, а гла́вное—серди́того.

— Послу́шай, ма́льчик!—сказа́ла ему́ одна́жды учи́тельница че́рез отво́ренную фо́рточку.—Хо́лодно тебе́?

— Не!—отве́тил Пе́тька серди́то и не сра́зу, а помолча́в.

— Как „не?" Ви́дишь, как ты пло́хо одет... Что, мать—то лю́бит тебя́? Серди́то отпихну́лся Пе́тька в пра́вый бок и серди́то сказа́л:—Не!—А оте́ц? И в ле́вую сто́рону Пе́тька пихну́л себя́ серди́то и ещё серди́тее сказа́л: Н—не!

— А ты когó лю́бишь? Пéтька тóлько нос утёр рвáным рукавóм.—Стáло-быть тебя́ никтó не лю́бит? Ничегó не отвечáл Пéтька.—Хóчешь я тебя́ бýду люби́ть? Пéтька молчáл.—В гóсти ко мне бýдешь ходи́ть... а? Расскáзывать тебé бýду... а? Гости́нцев дам...

Мнóго вся́ких благ насули́ла учи́тельница Пéтьке и в концé концóв дости́гла цéли.

— Н-ну, нáчал Пéтька, непривéтливым и сурóвым гóлосом, неохóтно и мéдленно поворáчивая гóлову к фóрточке:—н-ну... люби́... когдá хошь!

„Когдá хошь“ в устáх Пéтьки бы́ло то же сáмое, что в устáх егó отцá бы́ло: „чорт!,“ „дья́вол,!“—словá, котóрыми он вслýх и́ли про себя́ всегдá закáнчивал как начáло неудáчной рабóты, так и её всегдá неудáчное окончáние. И с тогó дня Пéтька стал ходи́ть к нам в гóсти вмéсте с други́ми деревéнскими мáльчиками. Приготовля́лись дéлать ёлку. Кýча ребяти́шек клеи́ла корóбочки, вырéзывала звёзды. Суетá междý ребя́тами шла сáмая оживлённая. Пéтька тáкже присýтствовал среди́ ребя́т, присáживался к ним то там, то сям, мéдленно переходи́л с одногó мéста на другóе, тяжелó стучá пó полу свои́ми неуклю́жими сапогáми, но не слы́шно бы́ло, чтóбы кто-нибýдь позвáл его, кри́кнул: „Пéтька! иди́! подсоби́!“ Нет, никтó в нём не нуждáлся. Пéтька был одинóк. Как он пришёл, что дéлал и как ушёл,—никтó не ви́дел, не замéтил, и вообщé никтó не обрати́л на негó внимáния. Но когдá все разошли́сь, оказáлось, что исчéзли дéсять рублéй, лежáвшие где-то на столé. Срáзу подýмали почемý то на Пéтьку. Осóбенно тщáтельно исслéдовала дéло прислýга, не желáвшая, чтóбы на ней лежáла тень подозрéния.

Óбщий гóлос и подрóбные расслéдования прислýги окончáтельно убеди́ли всех, что дéньги укрáл Пéтька.

Прошёл год; совершéнно забы́ли о Пéтьке. Вдруг совсéм неожи́данно, как раз пéред ёлкой,—явля́ется Пéтькина мать.

— На, возьми́ моегó петухá! – с каки́м-то отчáяньем в гóлосе и во всей манéре сказáла онá, вы́хватив из-под армякá тóщего стáрого пéтуха.—На! бери́! бери́, сдéлай ми́лость!—За что? Зачéм?—А пóмнишь?ономня́сь то?.. Пéтька-то мóй?... А ты дýмаешь, мнóго нам из вáшей то деся́тки достáлось? Роднáя! Всю ночь, в ту пóру, мой-то злодéй пил, да ел. Пироги́ велéл печь нóчью-то... ры́бы принёс... Всю ночь ел, да вини́ще жрал, покá не повали́лся, как пёс... Шáпку купи́л, рубáху... Еле у пья́ного-то трёшну на ребяти́шек вы́тащила... На! бери́, бери́, сдéлай такýю ми́лость! Петýх хорóший... На! на! прости́ нас!.. И она вмéсте с петухóм повали́лась в нóги.

— Приголýбь моегó Пéтьку—то! Пущáй опя́ть хóдит!...

Ма́тушка не оста́вь!

Петуха́ возврати́ли Пе́тькиной ма́тери, а Пе́тьку потре́бовали сейча́с же в го́сти.

— Иди́, Пе́тенька! Иди́, мой соко́лик!—звала́ его обра́дованная мать, вы́бежав сломя́ го́лову на у́лицу. Там, на моро́зе, Пе́тька дожида́лся ма́тери. Но до́лго упра́шивала она́ его́, да́же замахну́лась кулако́м; Пе́тька упря́мился; так что в конце́ концо́в мать всё-таки притащи́ла его́ за рука́в.

— На! Не гони́ его́! Пуща́й поглядит!..

Пе́тька вошёл в ко́мнату, не раздева́ясь, останови́лся у две́ри, до́лго стоя́л—и ушёл опя́ть же так, что́ его́ не заме́тили... Тепе́рь уж ничто́ не ра́довало его́. На душе́ его́ лежа́ло тяжёлое бре́мя— „вор!,“ и э́то оконча́тельно отта́лкивало его́ от всех.

С тех пор он не приходи́л к нам. Вся́кий раз, когда́ на дворе́ собира́лись игра́ть де́ти, и Пе́тька та́кже выходи́л из своей хиба́рки.

— Ма́льчики, позови́те Пе́тьку... Что ж он оди́н там!

Ма́льчики зову́т его́:—Пе́тька! Иди́! Чего́ стал!

Но Пе́тька сде́лает не́сколько шаго́в и ста́нет... Игра́ продолжа́ется, а Пе́тька всё стои́т на одно́м ме́сте, смо́трит и́здали. Не компа́нья ему́ крестья́нские де́ти! Нет у него́ с ни́ми ничего́ о́бщего! От всего́ он ото́рван и одино́к!

И вот тепе́рь одино́кий, отто́ргнутый от вся́кой свя́зи с бе́лым све́том, Пе́тька воскре́с! Он не в стороне́ от ребя́т, а тут, с ни́ми, и хоть не игра́ет, но наблюда́ет за игро́й, и наблюда́ет не то́лько без огорче́нья, без оби́ды, но, напро́тив, по́за у него́ така́я, что заставля́ет подозрева́ть в нём да́же сме́лость насме́шки. Вот ведь как!

Каки́м же о́бразом не возда́ть сла́ву шве́дскому челове́ку, спи́чечному фабрика́нту, кото́рый воскреси́л Пе́тьку?

— Фе́дя!—позва́л я опя́ть знако́мого ма́льчика.—Скажи́, пожа́луйста, что же Пе́тька на фа́брике де́лает?

— Коро́бки клеи́т.—Почём же ему́ пла́тят? Ну, что, наприме́р, сто́ит одна́ коро́бка? Фе́дя поду́мал и сказа́л:—

— Да одна́ то она́ ничего́ не сто́ит...—Как так?—

— Да и во́все ничего́...—Ну, а де́сять коро́бок?

И опя́ть поду́мал Фе́дя, посчита́л в „уме́“ и сказа́л:

— Они и де́сять ничего́ не сто́ят.

— Да как же так? Вот я сде́лал де́сять коро́бок—ско́лько я получу́?—Ничего́ тебе́ не даду́т...—Ну, это вздор.

— Ничего́ не даду́т! Тебе́ копе́йку даду́т, е́жели два́дцать пять сде́лаешь. Четы́ре копе́йки со́тня. Тут одна́ де́вочка четы́реста штук в день одолева́ет,—вот прово́рная!

Ну, а Пе́тька не мо́жет... Копе́ек на во́семь в су́тки—ну, так...

Фе́дя засмея́лся.—А ты говори́шь, чего́ сто́ит коро́бка?

Да она́ ничего́ не сто́ит... Вот како́й есть това́р. „Во́семь копе́ек в су́тки,—поду́малось мне:—это, коне́чно, малова́то; но что же ино́е могло́ ожида́ть в дере́вне ото́рванного от дере́вни Пе́тьку, крестья́нина, лише́нного сил и дарова́ния быть крестья́нином? На что и кому́ он ну́жен, серди́тый, бесси́льный? Нет, во́семь копе́ек своевре́менно пришли́ к нему́ на вы́ручку и вы́вели его́ на неизбе́жный для Пе́тьки путь.

Во́семь копе́ек—э́то то́лько нача́ло Пе́тькиной карье́ры. В дере́вне он на́чал превраща́ться в маши́нного челове́ка, здесь уж он прили́п к маши́не на ве́ки веко́в: дни и но́чи, ме́сяцы и го́ды он не отхо́дит от маши́ны,—тут в ней всё его́ существова́ние, тут слёзы и ра́дости, тут Пе́тькино сча́стье, тут, сло́вом, вся Пе́тькина жизнь, всё содержа́ние жи́зни; и здесь напряже́ние сил Пе́тьки дойдёт до вы́сшей сте́пени. Это напряже́ние пробьётся сквозь всевозмо́жные прегра́ды: в столи́це изобретено́ уж мно́жество други́х средств для подавле́ния Пе́тькиной жа́жды существова́ния: штра́фы, начёты, перево́д с заде́льной пла́ты на подённую, с подённой на заде́льную. И всё-таки Пе́тька преодоле́ет и удиви́т свое́й живу́честью.

Глеб Успе́нский.

---

14. Желе́зная доро́га.

I.

Сла́вная о́сень! Здоро́вый, ядрёный
Во́здух уста́лые си́лы бодри́т;
Лёд неокре́пший на ре́чке студёной,
Сло́вно как та́ющий са́хар, лежи́т.
　　Около ле́са, как в мя́гкой посте́ли,
　　Вы́спаться мо́жно—поко́й и просто́р!
　　Ли́стья поблёкнуть еще не успе́ли,
　　Жёлты и све́жи лежа́т, как ковёр.
Сла́вная о́сень! Моро́зные но́чи,
Ясные, ти́хие дни́...
Нет безобра́зья в приро́де! И ко́чи,
И моховы́е боло́та и пни́—
　　Всё хорошо́ под сия́нием лу́нным;
　　Всю́ду роди́мую Русь узнаю́...
　　Бы́стро лечу́ я по ре́льсам чугу́нным,
　　Ду́маю ду́му свою́.

II.

До́брый папа́ша! Кчему́ в обая́нии,
Умного Ва́ню держа́ть?
Вы мне позво́льте при лу́нном сия́нии
Пра́вду ему́ показа́ть.

Труд э́тот, Ва́ня, был стра́шно грома́ден—
Не по плечу́ одному́!
В ми́ре есть царь: э́тот царь безпоща́ден,
Го́лод назва́нье ему́.
Во́дит он а́рмии; в мо́ре суда́ми
Пра́вит; в арте́ли сгоня́ет люде́й.
Хо́дит за плу́гом, стои́т за плеча́ми
Каменотёсцев, ткаче́й.
Он то согна́л сюда́ ма́ссы наро́дные,
Мно́гие—в стра́шной борьбе́,
К жи́зни воззва́в э́ти де́бри безпло́дные,
Гроб обрели́ здесь себе́.
Пря́мо доро́женька: на́сыпи у́зкие,
Сто́лбики, ре́льсы, мосты́.
А по бока́м-то всё ко́сточки ру́сские...
Ско́лько их, Ва́нечка, зна́ешь ли ты?
Чу! восклица́нья послы́шались гро́зные!
Шо́пот и скре́жет зубо́в;
Тень набежа́ла на стёкла моро́зные...
Что там! Толпа́ мертвецо́в!
То обгоня́ют доро́гу чугу́нную,
То сторона́ми бегу́т.
Слыши́шь ты пе́нье? „В ночь э́ту лу́нную
Лю́бо нам ви́деть свой труд.
Мы надрыва́лись под зно́ем, под хо́лодом,
С ве́чно согну́той спино́й,
Жи́ли в земля́нках, боро́лися с го́лодом,
Мёрзли и мо́кли, боле́ли цынго́й.
Гра́били нас грамоте́и—деся́тники,
Се́кло нача́льство, дави́ла нужда́...
Всё претерпе́ли мы, бо́жии ра́тники,
Ми́рные де́ти труда́!
Бра́тья, вы на́ши труды́ пожина́ете!
Нам же в земле́ истлева́ть суждено́...
Всё ли нас, бе́дных, добро́м помина́ете,
Или забы́ли давно́?“
Не ужаса́йся их пе́ния ди́кого!
С Во́лхова, с ма́тушки—Во́лги, с Оки́,
С ра́зных концо́в госуда́рства вели́кого—
Это всё бра́тья твои́—мужики́!
Сты́дно робе́ть, закрыва́ться перча́ткою,
Ты уж не ма́ленький!.. Во́лосом рус,
Ви́дишь, стои́т измождён лихора́дкою
Высокоро́слый больно́й белору́сс:

Гу́бы безкро́вные, ве́ки упа́вшие,
Язвы на то́щих рука́х,
Ве́чно в воде́ по коле́но стоя́вшие
Но́ги опу́хли; колту́н в волоса́х;
Ямою грудь, что на за́ступ стара́тельно
Изо дня в де́нь налега́ла весь век...
Ты пригляди́сь к нему́, Ва́ня, внима́тельно,
Тру́дно свой хлеб добыва́л челове́к!
Не разогну́л свою спи́ну горба́тую
Он и тепе́рь ещё: ту́по молчи́т
И механи́чески ржа́вой лопа́тою
Мёрзлую зе́млю долби́т!
Эту привы́чку к труду́ благоро́дную
Нам бы не ху́до с тобо́й переня́ть...
Благослови́ же рабо́ту наро́дную
И научи́сь мужика́ уважа́ть.
Да не робе́й за отчи́зну любе́зную...
Вы́нес доста́точно ру́сский наро́д,
Вы́нес и э́ту доро́гу желе́зную—
Вы́несет всё, что госпо́дь ни пошлёт!
Вы́несет всё—и широ́кую, я́сную
Гру́дью доро́гу проло́жит себе́.
Жаль то́лько—жить в э́ту по́ру прекра́сную
Уж не придётся—ни мне́, ни тебе́.

III.

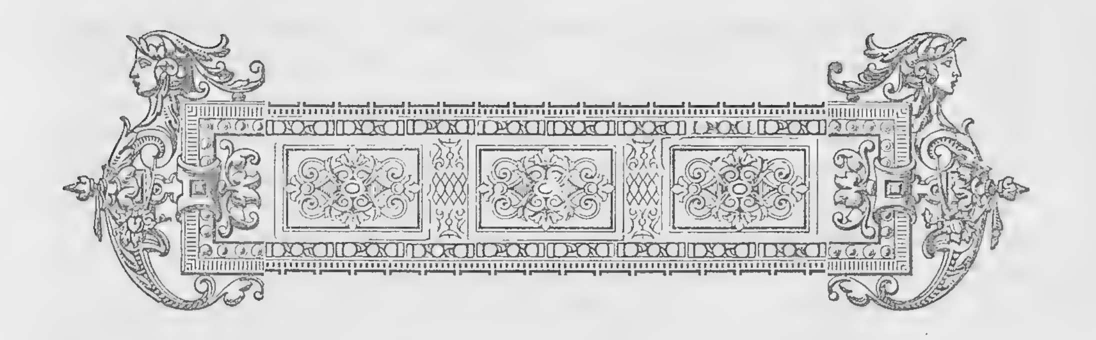
В э́ту мину́ту свисто́к оглуши́тельный
Взви́згнул—исче́зла толпа́ мертвецо́в!
„Ви́дел, папа́ша, я сон удиви́тельный—
Ва́ня сказа́л,—ты́сяч пять мужико́в.
Ру́сских племён и поро́д представи́тели
Вдруг появи́лись, и он мне сказа́л:
„Вот они́—на́шей доро́ги строи́тели!“
Захохота́л генера́л!
Был я неда́вно в стена́х Ватика́на,
По Колизе́ю две но́чи броди́л,
Ви́дел я в Ве́не свято́го Стефа́на,
Что же... всё это наро́д сотвори́л?
Вы извини́те мне смех э́тот де́рзкий,
Ло́гика ва́ша немно́жко дика́.
Или для вас Аполло́н Бельведе́рский
Ху́же печно́го горшка́?
Вот ваш наро́д—э́ти те́рмы и ба́ни—
Чу́до иску́сства—он всё растаска́л!—

„Я говорю́ не для вас, а для Ва́ни“...
Но генера́л возража́ть не дава́л:
Ваш славяни́н, а́нгло-сакс и герма́нец
Не создава́ть—разруша́ть мастера́,
Ва́рвары! Ди́кое ско́пище пья́ниц!..
Впро́чем, Ваню́шей заня́ться пора.
Зна́ете, зре́лищем сме́рти, печа́ли
Де́тское се́рдце грешно́ возмуща́ть.
Вы бы ребёнку тепе́рь показа́ли
Све́тлую сто́рону...

IV.

Рад показа́ть!
Слу́шай, мо́й ми́лый: труды́ роковы́е
Ко́нчены—не́мец уж ре́льсы кладёт.
Мёртвые в зе́млю зары́ты; больны́е
Скры́ты в земля́нках; рабо́чий наро́д,
Те́сной гурьбо́й у конто́ры собра́лся...
Кре́пко заты́лки чеса́ли они́:
Ка́ждый подря́дчику до́лжен оста́лся,
Ста́ли в копе́йку прогу́льные дни!
Всё заноси́ли деся́тники в кни́жку—
Брал ли на ба́ню, лежа́л ли больно́й:
„Мо́жет, и есть тут тепе́рича ли́шку,
Да вот поди́ ты!“ махну́ли рукой.
В си́нем кафта́не почте́нный лаба́зник,
То́лстый, приса́дистый, кра́сный, как медь,
Едет подря́дчик по ли́нии в пра́здник,
Едет рабо́ты свои́ посмотре́ть.
Пра́здный наро́д расступа́ется чи́нно...
Пот отира́ет купчи́на с лица́,
И говори́т, подбоче́нясь карти́нно:
„Ла́дно... нешто́... молодца́... молодца́...
С бо́гом, тепе́рь по дома́м,—поздравля́ю!
(Ша́пки доло́й—коли́ я говорю́)...
Бо́чку рабо́чим вина́ выставля́ю
И—недои́мку дарю́!..“
Кто-то „ура́“ закрича́л, подхвати́ли
Гро́мче, дружне́е, протя́жнее... Глядь:
С пе́сней деся́тники бо́чку кати́ли...
Тут и лени́вый не мог устоя́ть!
Вы́пряг наро́д лошаде́й—и купчи́ну
С кри́ком: ура́! по доро́ге помча́л...
Ка́жется, тру́дно отра́дней карти́ну
Нарисова́ть, генера́л?

Н. А. Некра́сов.



III. Ска́зки.

---

1. Бра́тская любо́вь кре́пче ка́менных стен.

Далеко́ отсю́да, там, куда́ улета́ют ла́сточки, ко́гда у нас настаёт зима́, жил коро́ль; у него́ бы́ло оди́ннадцать сынове́й и дочь Эли́за. Хорошо́ бы́ло жить э́тим де́тям! Но недо́лго продолжа́лась така́я хоро́шая жизнь... Оте́ц их жени́лся на злой короле́ве, и короле́ва о́чень не люби́ла бе́дных дете́й. Че́рез неде́лю по́сле сва́дьбы она́ отвезла́ ма́ленькую Эли́зу в дере́вню и отдала́ её в крестья́нскую се́мью, а пото́м наговори́ла королю́ так много́ дурно́го о бе́дных при́нцах, что оте́ц совсе́м переста́л о них забо́титься. „Убира́йтесь, куда́ глаза́ глядя́т,“ сказа́ла короле́ва,—и добыва́йте себе́ хлеб са́ми!“

Убира́йтесь и броди́те по све́ту, как больши́е пти́цы!

А короле́ва была́ колду́нья, и что она́ хоте́ла, то и де́лалось. Вот при́нцы и преврати́лись в прекра́снейших ди́ких лебеде́й. С гро́мким кри́ком вы́летели они́ из о́кон дворца́ и понесли́сь далеко́, че́рез сады́ и леса́. Эли́зе испо́лнилось 15 лет, и она́ возврати́лась к отцу́. Но ма́чеха сде́лала её тако́й безобра́зной, что́ да́же родно́й оте́ц не узна́л её. Эли́за запла́кала и реши́ла уйти́ из за́мка и отыска́ть свои́х бра́тьев. По доро́ге она́ умы́лась в ручье́ и ста́ла краси́вее пре́жнего. До́лго шла Эли́за. Пе́ред са́мым захо́дом со́лнца она́ уви́дела оди́ннадцать лебеде́й. Они́ пронесли́сь оди́н вслед за други́м, и и́здали мо́жно бы́ло приня́ть их за дли́нную, бе́лую ле́нту. Эли́за спря́талась за кустарником; ле́беди опусти́лись недалеко́ от неё и захло́пали больши́ми бе́лыми кры́льями. Как то́лько со́лнце совсе́м зашло́, лебеди́ные пе́рья вдруг

упа́ли, и пе́ред Эли́зою очути́лись её бра́тья. Эли́за гро́мко вскри́кнула. Она́ бро́силась в их об‘я́тия, называ́ла ка́ждого по и́мени; бра́тья бы́ли то́же о́чень сча́стливы, уви́дев свою́ сестру́. Они́ смея́лись и пла́кали и расска́зывали друг дру́гу обо всём, что они́ пережили в разлу́ке.—„Мы, бра́тья,—расска́зывал ста́рший,—лета́ем, как ди́кие ле́беди, це́лый день, и то́лько по́сле захо́да со́лнца опя́ть де́лаемся людьми́. Поэ́тому мы всегда́ должны́ стара́ться к ча́су со́лнечного захо́да быть на тве́рдой земле́. Очути́сь мы в э́тот час, наприме́р, под облака́ми, нам пришло́сь бы слете́ть вниз и уби́ться. Живём мы не здесь: по ту сто́рону мо́ря; лете́ть туда́ о́чень далеко́,—на́до пролете́ть це́лое мо́ре, а на доро́ге нет ни одного́ островка́, где бы могли́ мы переночева́ть; то́лько оди́н утёс выхо́дит из мо́ря, но́ он так мал, что нам тру́дно помести́ться на нём. Прилете́ть на ро́дину мы мо́жем то́лько раз в год, и тогда́ мы лета́ем над больши́м ле́сом, отку́да мо́жно ви́деть дворе́ц, в кото́ром роди́лись мы, и где живёт наш оте́ц, и кла́дбище, где похоро́нена на́ша мать. Нам ка́жется, что здесь и дере́вья, и кусты́ на́ши, родны́е; нас тя́нет сюда́, и здесь нашли́ мы тебя́, ми́лая, хоро́шая сестри́ца. Два дня ещё нам оста́лось быть здесь, а пото́м на́до опя́ть лете́ть за́ мо́ре; там прекра́сная страна́, но она́ не на́ша ро́дина! Как возьмём мы тебя́ с собо́й? У нас нет ни корабля́, ни ло́дочки.“ И они́ разгова́ривали почти́ всю ночь.— „За́втра, сказа́ли они́,—мы должны́ улете́ть отсю́да, и не вернёмся ра́ньше го́да. Но мы не мо́жем оста́вить тебя́. Реши́шься ли ты после́довать за на́ми? Ру́ки на́ши дово́льно си́льны, чтобы нести́ тебя́ по ле́су, а днём, когда́ мы пти́цы, ра́зве на́ши кры́лья не сде́ржат тебя́ во вре́мя полёта?“

—„Да возьми́те меня́ с собо́й,“ сказа́ла Эли́за. Всю ночь плели́ они́ се́тку из ги́бкого тростника́ и коры́ и́вы; и се́тка вы́шла больша́я и про́чная. В неё легла́ Эли́за, а когда́ со́лнце взошло́ и бра́тья преврати́лись в ди́ких лебеде́й, они́ взя́ли се́тку в клю́вы и полете́ли высоко́-высоко́ с свое́ю ми́лою сестро́й. Со́лнечные лучи́ па́дали пря́мо на её лицо́; поэ́тому оди́н из лебеде́й полете́л над её голово́й и заслоня́л ей свет свои́ми широ́кими кры́льями. Це́лый день лете́ли они́, как стрела́, но всё-таки́ ме́дленнее обыкнове́нного, потому́ что тепе́рь им приходи́лось нести́ сестру́. Собира́лась гроза́, и ве́чер приближа́лся; с испу́гом смотре́ла Эли́за на захо́д со́лнца, а между́ тем утёс, о кото́ром говори́ли бра́тья, ещё не был ви́ден. Ах, это она́ винова́та, что они́ не могли́ лете́ть с пре́жнею быстрото́й! Стра́шно ей бы́ло ду́мать, что с захо́дом со́лнца они́ преврати́тся в люде́й, упаду́т в мо́ре и уто́нут. Между́ тем со́лнце дошло́ до са́мого кра́я. Се́рдце Эли́зы би́лось от стра́ха; ле́беди спусти́лись ни́же. Они́ лете́ли ти́ше. Со́лнце бы́ло уже́ вполови́ну под водо́й; тут то́лько Эли́за

уви́дела ма́ленький утёс. Со́лнце опуска́лось о́чень бы́стро и каза́лось уже́ небольшо́ю звездо́й; в э́ту мину́ту но́ги лебеде́й косну́лись твёрдой земли́. Со́лнце пога́сло. Эли́за уви́дела вокру́г себя́ свои́х бра́тьев в челове́ческом ви́де; но утёс был так мал, что они́ с трудо́м помеща́лись на нём. Стра́шная была́ ночь. Мо́ре би́лось об утёс и осыпа́ло Эли́зу бры́згами; не́бо блесте́ло беспреста́нными мо́лниями; раска́ты гро́ма сле́довали оди́н за други́м. На рассве́те бу́ря ути́хла. Как то́лько со́лнце взошло́, ле́беди опя́ть полете́ли с Эли́зой.

Наконе́ц уви́дела Эли́за ту страну́, куда́ лете́ли её бра́тья: там возвыша́лись си́ние го́ры с кедро́выми леса́ми, города́ми и за́мками. Она́ сиде́ла пред большо́й пеще́рой, обро́сшей зелёными вью́щимися расте́ниями; каза́лось, что э́то вы́шитые ковры́.

— Посмо́трим, что тебе́ присни́тся здесь в э́ту ночь!—сказа́л мла́дший брат, ука́зывая сестре́ на её спа́льню.

— Дай бог, что́бы мне присни́лось, как спасти́ вас,—отвеча́ла она́.

И э́та мысль си́льно занима́ла её. И пригре́зилось ей, что лети́т она высоко́ по во́здуху к те́рему волше́бницы; волше́бница сама́ вы́шла к ней навстре́чу, така́я краси́вая и блестя́щая.

— Твои́х бра́тьев мо́жно спасти́, — сказа́ла волше́бница,— но хва́тит ли у тебя́ на э́то терпе́ния? Ты зна́ешь, что вода́ мя́гче твои́х не́жных рук, а между́ тем она́ шлифу́ет ка́мни; но вода́ не чу́вствует бо́ли, кото́рую почу́вствуют твои́ па́льцы; у неё нет се́рдца, она́ не испы́тывает го́ря, кото́рое придётся тебе́ вы́нести. Ви́дишь ты в мое́й руке́ крапи́ву? Така́я же крапи́ва растёт вокру́г пеще́ры, где ты спишь. Этой-то крапи́вы ты должна́ нарва́ть, несмотря́ на то, что твои́ ру́ки покро́ются жгу́чими пузыря́ми. Пото́м растопчи́ её нога́ми, и тогда́ ты полу́чишь лён; из него́ сплети́ оди́ннадцать па́нцырей с дли́нными рукава́ми; когда́ сплетёшь, наки́нь их на оди́ннадцать лебеде́й,—и колдовство́ спадёт с них. Но по́мни хороше́нько, что ты не должна́ ни с кем говори́ть ни сло́ва с той мину́ты, как начнёшь э́ту рабо́ту, до тех пор, пока́ ко́нчишь; пе́рвое сло́во, кото́рое ты ска́жешь в э́то вре́мя, пронзи́т, как нож, се́рдце твои́х бра́тьев. От твоего́ молча́ния зави́сит их жизнь. По́мни всё э́то?

И с э́тими слова́ми волше́бница тро́нула ру́ку Эли́зы крапи́вой; то́чно ого́нь косну́лся де́вушки, и она́ просну́лась. Бы́ло уже́ совсе́м светло́, и по́дле са́мой её посте́ли лежа́ла ве́тка крапи́вы. Тогда́ Эли́за упа́ла на коле́ни, поблагодари́ла бо́га и вы́шла из пеще́ры, что́бы приня́ться за свою́ рабо́ту. Не́жными рука́ми начала́ она́ срыва́ть крапи́ву, кото́рая жгла, как ого́нь; больши́е пузыри́ горе́ли на па́льцах де́вушки, но она́ с ра́достью сноси́ла э́ти муче́ния при мы́сли, что мо́жет спасти́ бра́тьев.

После захо́да со́лнца пришли́ бра́тья; они́ испуга́лись, уви́дя, что она́ не говори́т ни сло́ва. Ночь заста́ла её за рабо́той; она́ не хоте́ла успоко́иться, пре́жде чем спасёт бра́тьев. Весь сле́дующий день, в то вре́мя, когда́ ле́беди лета́ли, она́ сиде́ла соверше́нно одна́ и всё рабо́тала. Оди́н па́нцырь был уже́ гото́в, и она́ приняла́сь за друго́й. Ру́ки её боле́ли, но она́ всё рабо́тала.

Одна́жды коро́ль той страны́, охо́тясь в тех места́х, случа́йно увида́л Эли́зу, полюби́л её, и она́ его́ полюби́ла; и он жени́лся на ней. В короле́вском дворце́ Эли́за продолжа́ла свою́ рабо́ту и не говори́ла ни сло́ва. Коро́ль снача́ла о́чень люби́л Эли́зу, но его́ о́чень огорча́ло, что она́ нема́я. Пото́м он стал ду́мать, что она́ колду́нья, потому́ что ника́к не мог поня́ть, для чего́ и что короле́ва плетёт из крапи́вы. Эли́за не могла́ опра́вдываться, потому́ что пе́рвое её сло́во должно́ бы́ло уби́ть её бра́тьев. Тогда́ короле́вские су́дьи реши́ли сжечь её, как колду́нью, на костре́.

Из великоле́пных короле́вских зал повели́ Эли́зу в тёмную, сыру́ю темни́цу, где ве́тер свиста́л сквозь решётку: вме́сто ба́рхата и шёлка ей да́ли тут пук крапи́вы, кото́рый она́ набрала́ в после́днюю ночь: э́то должно́ бы́ло служи́ть ей изголо́вьем, а вме́сто одея́ла принесли́ ей жёсткие, жгу́чие па́нцыри, вы́пряденные е́ю. Но лу́чшего пода́рка ей не могли́ сде́лать; она сно́ва приняла́сь за рабо́ту.

Вдруг ве́чером у са́мой решётки тюрьмы́ послы́шалось хле́панье лебеди́ных кры́льев: э́то был мла́дший брат. Он нашёл сестру́, и она́ зарыда́ла от ра́дости, хотя́ зна́ла, что э́та ночь бу́дет, мо́жет-быть, после́днею в её жи́зни. Но она́ утеша́ла себя́ тем, что рабо́та её была́ почти́ ко́нчена, и что бра́тья бы́ли здесь. Ма́ленькие мы́ши бе́гали по́ по́лу и прита́скивали к её нога́м крапи́ву, а дрозд сел на решётку окна́ и пел, как только мог веселе́е, что́бы ободри́ть её.

До рассве́та ещё остава́лся час, когда́ оди́ннадцать бра́тьев подошли́ к воро́там дворца́ и потре́бовали, что́бы их свели́ к королю́. Но коро́ль спал, и ни́кто не сме́л разбуди́ть его́. Бра́тья проси́ли, угрожа́ли, так что, наконе́ц, коро́ль вы́шел и спроси́л, что зна́чит э́тот шум. Но в э́ту мину́ту взошло́ со́лнце, и бра́тьев не ста́ло; то́лько оди́ннадцать ди́ких лебеде́й пронесло́сь над за́мком.

Толпы́ наро́да шли из городски́х воро́т; все хоте́ли ви́деть, как бу́дут жечь колду́нью. Ста́рая кля́ча везла́ теле́гу, на кото́рой сиде́ла она́, оде́тая в са́ван из гру́бой холсти́ны; чу́дные во́лосы её бы́ли распу́щены, щёки бле́дны, а па́льцы всё плели́ и плели́. Да́же на пути́ к ка́зни она́ не перестава́ла рабо́тать: де́сять па́н-

цырей лежа́ли у её ног, оди́ннадцатый она́ плела́. Наро́д издева́лся над не́ю, обступи́л её теле́гу; хоте́ли разорва́ть па́нцыри; но в э́ту мину́ту прилете́ли оди́ннадцать ди́ких лебеде́й, окружи́ли несча́стную и захло́пали больши́ми кры́льями. Она́ бы́стро набро́сила на лебеде́й оди́ннадцать па́нцырей, и в ту́ же мину́ту оди́ннадцать прекра́сных при́нцев очути́лись пе́ред наро́дом. Но у мла́дшего вме́сто одно́й руки́ оста́лось лебеди́ное крыло́, потому́ что в его́ па́нцыре она́ не успе́ла допря́сть рука́в. „Тепе́рь я име́ю пра́во говори́ть,—сказала она:—я неви́нна!“ И наро́д, уви́девший, что произошло́, преклони́лся пе́ред не́ю, и она́ без чу́вств упа́ла в об‘я́тия бра́тьев, потому́ что изнемогла́ от волне́ния, бо́ли и уста́лости.

Ста́рший брат рассказа́л всю́ её исто́рию. И в то́ вре́мя, как он говори́л, по во́здуху распространи́лось благоуха́ние, точно от миллио́на роз: высо́кий и дли́нный ряд души́стых куста́рников разраста́лся пе́ред глаза́ми всех, укра́шенный пунцо́выми ро́зами, и на са́мой верху́шке красова́лся цвето́к бе́лый и блестя́щий, как звёздочка. Коро́ль сорва́л его́ и приколо́л к груди́ Эли́зы, и тогда́ она́ просну́лась весёлая и споко́йная. Все колокола́ загуде́ли са́ми собо́ю, и пти́цы прилете́ли огро́мными ста́ями, и во дворе́ц короле́вский верну́лся тако́й сва́дебный по́езд, како́го до тех пор не ви́дел ни оди́н коро́ль на све́те.

Андерсен.

---

2. Восто́чная леге́нда.

Кто в Багда́де не зна́ет вели́кого Джиаффа́ра, со́лнца вселе́нной? Одна́жды—мно́го лет тому́ наза́д—он был ещё ю́ношей,—прогу́ливался Джиаффа́р в окре́стностях Багда́да. Вдруг до слу́ха его долете́л хри́плый крик: кто-то отча́янно взвыва́л о по́мощи. Джиаффа́р отлича́лся между́ свои́ми све́рстниками благоразу́мием и обду́манностью; но се́рдце у него́ бы́ло жа́лостливое—и он наде́ялся на свою́ си́лу. Он побежа́л на крик и уви́дел дря́хлого старика́, прити́снутого к городско́й стене́ двумя́ разбо́йниками, кото́рые его́ гра́били. Джиаффа́р вы́хватил свою́ са́блю и напа́л на злоде́ев: одного́ уби́л, друго́го прогна́л.

Освобождённый ста́рец пал к нога́м своего́ избави́теля и, облобыза́в край его́ оде́жды, воскли́кнул: „Хра́брый ю́ноша, твоё великоду́шие не оста́нется без награ́ды. На вид я—убо́гий, ю́ноша; но то́лько на вид. Я челове́к не просто́й.—Приходи́ за́втра, ра́нним у́тром, на гла́вный база́р; я бу́ду ждать тебя́ у фонта́на—и ты убеди́шься в справедли́вости мои́х слов“. Джиаф-

фа́р поду́мал: „На вид челове́к э́тот ни́щий, то́чно; одна́ко — вся́ко быва́ет. Отчего́ не попыта́ться?“ — и отвеча́л: „хорошо́, оте́ц мой, приду́“. Стари́к взгляну́л ему́ в глаза́ — и удали́лся.

На друго́е у́тро, чуть забре́зжил свет, Джиаффа́р отпра́вился на база́р. Стари́к уже́ ожида́л его́, облокотя́сь на мра́морную ча́шу фонта́на. Мо́лча взял он Джиаффа́ра за́ ру́ку и привёл его в небольшо́й сад, со всех сторо́н окружённый высо́кими стена́ми. По са́мой середи́не э́того са́да, на зелёной лужа́йке, росло́ де́рево необыча́йного ви́да. Оно́ походи́ло на кипари́с; то́лько листва́ на нём была́ лазо́ревого цве́та. Три плода́ — три я́блока — висе́ло на то́нких, кве́рху за́гнутых ве́тках: — одно́, сре́дней величины́, продолгова́тое, моло́чно-бе́лое; друго́е, больша́е, кру́глое, я́рко-кра́сное; тре́тье - ма́ленькое, смо́рщенное, желтова́тое. Всё де́рево сла́бо шуме́ло, хотя́ и не́ было ве́тра. Оно́ звене́ло то́нко и жа́лобно, сло́вно стекля́нное; каза́лось, оно́ чу́вствовало приближе́ние Джиаффа́ра. „Юноша“ — промо́лвил ста́рец. — Сорви́ любо́й из э́тих плодо́в и зна́й: сорвёшь и с'ешь бе́лый — бу́дешь умне́е всех людей́; сорвёшь и с'ешь кра́сный — бу́дешь бога́т, как Ро́тшильд; сорвёшь и с'ешь жёлтый — бу́дешь нра́виться ста́рым же́нщинам. Реша́йся!.. и не ме́шкай. Че́рез час и плоды́ завя́нут, и само́ де́рево уйдёт в нему́ю глубь земли́!“ Джиаффа́р пону́рил го́лову — и заду́мался. — „Как тут поступи́ть?“ — произнёс он вполго́лоса, как бы рассужда́я сам с собо́ю. — „Сде́лаешься сли́шком у́мным — пожа́луй, жить не захо́чется; сде́лаешься бога́че всех людей́ — бу́дут все тебе́ зави́довать; лу́чше же я сорву́ и с'ем тре́тье смо́рщенное я́блоко!“ Он так и поступи́л; а ста́рец засмея́лся беззу́бым сме́хом и промо́лвил: „О, мудре́йший ю́ноша! Ты и́збрал благу́ю часть! На что тебе́ бе́лое я́блоко? Ты и так умне́е Соломо́на. — Кра́сное я́блоко та́кже тебе́ не нужно́... И без него́ ты бу́дешь бога́т. То́лько бога́тству твоему́ никто́ зави́довать не ста́нет.“

И. С. Турге́нев.

---

3. Горя́чее се́рдце.

Жи́ли на земле́ в старину́ одни́ лю́ди, где? не зна́ю. Зна́ю, что больши́е непроходи́мые леса́ окружа́ли с трёх сторо́н та́боры э́тих людей́, а с четвёртой была́ степь. Бы́ли это весёлые, си́льные и сме́лые лю́ди, не жела́вшие мно́гого... И вот пришла́ однажды тяжёлая пора́: яви́лись отку́да-то ины́е племена́ и прогна́ли пре́жних в глубь ле́са. Там бы́ли боло́та и тьма, потому́ что лес был ста́рый, и так гу́сто переплели́сь его́ ве́тви, что

сквозь них не вида́ть бы́ло не́ба, и лучи́ со́лнца едва́ могли́ пробі́ть себе́ доро́гу до боло́т сквозь густу́ю листву́. Но когда́ его́ лучи́ па́дали на́ во́ду боло́т, то подыма́лся смрад, и от него́ лю́ди ги́бли оди́н за други́м. Тогда́ ста́ли пла́кать жёны и де́ти э́того пле́мени, а отцы́ заду́мались и впа́ли в тоску́. Ну́жно бы́ло уйти́ из э́того ле́са, и для того́ бы́ли две доро́ги: одна́—наза́д,—там бы́ли си́льные и злы́е враги́, друга́я—вперёд,—там стоя́ли велика́ны—дере́вья, пло́тно обня́вши друг дру́га могу́чими ветвя́ми и опусти́в свои́ узлова́тые ко́рни глубоко́ в це́пкий ил боло́та. Эти дере́вья стоя́ли молчали́во и неподви́жно, как ка́менные, днём в се́ром су́мраке, и ещё плотне́е сдвига́лись вокру́г тех люде́й по вечера́м, когда загора́лись костры́. И всегда́, днём и но́чью, вокру́г тех люде́й бы́ло кольцо́ кре́пкой тьмы́, кото́рое то́чно собира́лось раздави́ть их, привы́кших к степно́му просто́ру и све́ту. А ещё страшне́е бы́ло тогда́, когда́ ве́тер бил по верши́нам дере́вьев и весь лес глу́хо гуде́л, то́чно грози́л и пел похоро́нную пе́сню тем лю́дям, что укры́лись в нем от враго́в. Это бы́ли всё-таки́ си́льные лю́ди и могли́ бы они́ пойти́ би́ться на́ смерть с те́ми, что одна́жды победи́ли их, но они́ не могли́ умере́ть в боя́х, потому́ что у них бы́ли заве́ты, и коли́-б у́мерли они́, то пропа́ли-б с ни́ми из жи́зни и заве́ты те. И потому́ они́ сиде́ли и ду́мали в дли́нные но́чи под глухо́й шум ле́са в ядови́том смра́де боло́та. Они́ сиде́ли, а те́ни от костро́в пры́гали вокру́г них в безмо́лвной пля́ске, и всем каза́лось, что э́то не те́ни пля́шут, а торжеству́ющие злы́е ду́хи ле́са и боло́та... Лю́ди всё сиде́ли и ду́мали. Но ничто́—ни рабо́та, ни же́нщины не изнуря́ют те́ла и души́ люде́й так, как изнуря́ют тоскли́вые ду́мы, что сосу́т се́рдце, как зме́и. И осла́бли от дум лю́ди... Страх роди́лся среди́ них, скова́л им кре́пкие ру́ки, у́жас роди́ли же́нщины свои́м пла́чем над тру́пами уме́рших от смра́да и над судьбо́й ско́ванных стра́хом живы́х;—и трусли́вые слова́ ста́ли слы́шны в лесу́, снача́ла ро́бкие и ти́хие, а пото́м всё гро́мче и гро́мче... Уже́ хоте́ли итти́ к врагу́ и принести́ ему́ в дар себя́ и во́лю свою́, и никто́ уж, испу́ганный сме́ртью, не боя́лся ра́бской жи́зни...

Но́ тут яви́лся Да́нко и спас всех оди́н. Повёл их Да́нко. Дру́жно все пошли́ за ним—ве́рили в него́. Тру́дный путь э́то был! Темно́ бы́ло, и на ка́ждом шагу́ боло́то разева́ло свою́ жа́дную, гнилу́ю пасть, глота́я люде́й, и дере́вья заступа́ли доро́гу могу́чей стено́й. Переплели́сь их ве́тки между́ собо́й, как зме́и, протяну́лись всю́ду ко́рни, и ка́ждый шаг мно́го сто́ил по́та и кро́ви тем лю́дям. До́лго шли они́.... Всё гу́ще станови́лся лес, всё ме́ньше бы́ло сил! И вот они́ ста́ли ропта́ть на Да́нко, говоря́, что напра́сно он, молодо́й и нео́пытный, повёл их куда́-то. А он шёл впереди́ их и был бодр и я́сен. Но одна́жды гроза́ гря́нула над ле́сом, и зашепта́ли дере́вья

глу́хо и гро́зно. И ста́ло тогда́ в лесу́ так темно́, то́чно в нём собрали́сь сра́зу все но́чи, ско́лько их бы́ло на све́те с той поры́, как он роди́лся. Шли ма́ленькие лю́ди между́ больши́х дере́вьев; в гро́зном шу́ме мо́лний шли они́; и, кача́ясь, велика́ны—дере́вья скрипе́ли и гуде́ли серди́тые пе́сни, а мо́лнии, лета́я над верши́нами ле́са, освеща́ли его́ на мину́ту си́ним холо́дным огнём и исчеза́ли так же бы́стро, как и явля́лись, пуга́я люде́й. И дере́вья, освещённые холо́дным огнём мо́лний, каза́лись живы́ми, простира́ющими вокру́г люде́й, уходи́вших из пле́на тьмы́, коря́вые, дли́нные ру́ки, сплета́я их в густу́ю сеть и пыта́ясь останови́ть люде́й. А из тьмы́ ветве́й смотре́ло на иду́щих что-то стра́шное, тёмное и холо́дное. Это был тру́дный путь; и лю́ди, утомлённые им, па́ли ду́хом. Но им сты́дно бы́ло созна́ться себе́ в бесси́лии, и вот они́ в зло́бе обру́шились на Да́нко, челове́ка, кото́рый шёл впереди́ их. И ста́ли они упрека́ть его в неуме́нии управля́ть и́ми.—Вот как! Останови́лись они́ и под торжеству́ющий шум ле́са, среди́ дрожа́щей тьмы́, уста́лые и зли́е, ста́ли суди́ть Да́нко.—„Ты,—сказа́ли они́,—ничто́жный и вре́дный челове́к для нас! Ты повёл нас и утоми́л, и за э́то ты поги́бнешь!“ И мо́лнии и гром подтверди́ли их пригово́р.

„Вы сказа́ли: веди! --и я повёл!—кри́кнул Да́нко, становя́сь про́тив них гру́дью.—Во мне есть му́жество вести́, вот потому́ я повёл вас! А вы? Что сде́лали вы в по́мощь себе́? Вы то́лько шли́ и не уме́ли сохрани́ть му́жество на путь бо́лее до́лгий! Вы то́лько шли, шли себе́, как ста́до ове́ц!“ Но э́ти слова́ раз‘яри́ли их ещё бо́лее.—Ты умрёшь!—реве́ли они. А лес все гуде́л и гуде́л, вто́ря их кри́кам, и мо́лнии разрыва́ли тьму в кло́чья. Да́нко смотре́л на тех, ра́ди кото́рых он понёс труд, и ви́дел, что они́—как зве́ри. Мно́го люде́й стоя́ло вокру́г него́, но не́ было на ли́цах их благоро́дства, и нельзя́ бы́ло ему́ ждать поща́ды от них. Тогда́ и в его́ се́рдце вскипе́ло негодова́ние, но от жа́лости к лю́дям оно́ пога́сло. Он люби́л люде́й тех и ду́мал, что, мо́жет быть, без него́ они́ поги́бнут.

И вот его́ се́рдце вспы́хнуло я́рким огнём жела́ния спасти́ их и вы́вести на лёгкий путь, и тогда́ в его́ оча́х засверка́ли лучи́ того́ могу́чего огня́. А они́, увида́в э́то, поду́мали, что он рассвирепе́л, отчего́ так ярко и разгоре́лись о́чи его́, и они́ насторожи́лись, как во́лки, ожида́я, что он бу́дет боро́ться с ни́ми, и ста́ли плотне́е окружа́ть его́, что́бы ле́гче им бы́ло схвати́ть и уби́ть Да́нко. А о́н уж по́нял их ду́му, оттого́ ещё я́рче загоре́лось в нём се́рдце, и́бо э́та их ду́ма роди́ла в нём тоску́. А лес всё пел свою́ мра́чную пе́сню, и гром всё греме́л, и лил до́ждь.....
—Что сде́лал я для люде́й!?...—сильне́е гро́ма кри́кнул Да́нко. И

вдру́г он разорва́л себе́ рука́ми грудь и вы́рвал из неё своё се́рдце и высоко́ по́днял его́ над голово́й. Оно́ же пыла́ло так я́рко, как со́лнце, и я́рче со́лнца, и весь лес замолча́л, освещённый э́тим фа́келом вели́кой любви́ к лю́дям, а тьма разлете́лась от све́та его́ и там, глубоко́ в лесу́, дрожа́щая, па́ла в гнило́й зев боло́та. Лю́ди же, изумлённые, стоя́ли, как ка́мни.— Идём!—кри́кнул Да́нко и бро́сился вперёд на своё ме́сто, высоко́ держа́ горя́щее се́рдце и освеща́я им путь лю́дям. Они́ бро́сились за ним, любопы́тные и очаро́ванные. Тогда́ лес сно́ва зашуме́л, удивлённо кача́я верши́нами, но его шум был заглушён то́потом бегу́щих людей́. Все бежа́ли бы́стро и сме́ло, увлека́емые чуде́сным зре́лищем горя́щего се́рдца. И тепе́рь ги́бли, но ги́бли без жа́лоб и слёз. А Да́нко всё был впереди́, и се́рдце его́ всё пыла́ло, пыла́ло! И вот вдруг лес расступи́лся пе́ред ни́м, расступи́лся и оста́лся сза́ди, пло́тный и немо́й, а Да́нко и все те лю́ди сра́зу окуну́лись в це́лое мо́ре со́лнечного све́та и чи́стого во́здуха, промы́того дождём.

Гроза́ была́ там, сза́ди них, над ле́сом, а тут сия́ло со́лнце, вздыха́ла степь, блесте́ла трава́ в брилья́нтах дождя́, и зо́лотом сверка́ла река́.... Был ве́чер, и от луче́й зака́та река́ каза́лась кра́сной, как та кровь, что би́ла горя́чей струёй из разо́рванной гру́ди Да́нко. Ки́нул взор вперёд себя́ на ши́рь степе́й го́рдый, умира́ющий смельча́к Да́нко,—ки́нул он ра́достный взор на своб́одную зе́млю и засмея́лся го́рдо. А пото́м упа́л и у́мер. Ти́хо шепта́ли удивлённые дере́вья, оста́вшиеся позади́, и трава́, смо́ченная кро́вью Да́нко, вто́рила им. Лю́ди же, ра́достные и по́лные наде́жд, не заме́тили сме́рти его́ и не вида́ли, что ещё пыла́ет ря́дом с тру́пом Да́нко его́ сме́лое се́рдце.

То́лько оди́н осторо́жный челове́к заме́тил э́то и, боя́сь чего́-то, наступи́л на го́рдое се́рдце ного́й... И вот оно́, рассы́павшись в и́скры, уга́сло......

М. Го́рький.

---

4. Уж и Со́кол.

Высоко́ в го́ры вполз Уж и лёг там в сыро́м уще́лье, сверну́вшись в у́зел и глядя́ в мо́ре. Высоко́ в не́бе сия́ло со́лнце, а го́ры зно́ем дыша́ли в не́бо, и би́лись во́лны внизу́ о ка́мень... А по уще́лью, во тьме́ и бры́згах, пото́к стреми́лся навстре́чу мо́рю, гремя́ камня́ми.... Весь в бе́лой пе́не, седо́й и си́льный, он ре́зал го́ру и па́дал в мо́ре, серди́то во́я. Вдруг в то́ уще́лье, где Уж сверну́лся, пал с не́ба Со́кол с разби́той гру́дью, в крови́ на пе́рьях... С коро́тким кри́ком он пал на зе́млю и би́лся

грýдью в безси́льном гнéве о твёрдый кáмень..... Уж испугáлся, отпóлз провóрно, но скóро пóнял, что жи́зни пти́це две-три минýты..... Подпóлз он бли́же к разби́той пти́це и прошипéл он ей пря́мо в óчи:—„Что, умирáешь?“—„Да, умирáю!—отвéтил Сóкол, вздохнýв глубóко.—Я слáвно пóжил!.. Я знáю счáстье!.. Я хрáбро би́лся!... Я ви́дел нéбо!... Ты не уви́дишь его́ так бли́зко!... Эх, ты, бедня́га!—„Ну, что же нéбо?—пустóе мéсто.... Как мне там пóлзать? Мне здесь прекрáсно.... теплó и сы́ро!“ Так Уж отвéтил свобóдной пти́це и усмехнýлся в душé над нéю за э́ти брéдни. И так подýмал: „Летáй иль пóлзай, конéц извéстен: все в зéмлю ля́гут, всё прáхом бýдет“... Но Сóкол смéлый вдруг встрепенýлся, привстáл немнóго и по ущéлью повёл очáми. Сквозь сéрый кáмень водá сочи́лась, и бы́ло дýшно в ущéлье тёмном, и пáхло гни́лью. И кри́кнул Сóкол с тоскóй и бóлью, собрáв все си́лы:—„О, éсли б в нéбо хоть раз подня́ться!... Врагá прижáл бы я.... к рáнам грýди и.... захлебнýлся б мóей он крóвью!... О, счáстье би́твы!....“ А Уж подýмал: „Должнó-быть, в нéбе в сáмом дéле пожи́ть прия́тно, коль он так стóнет!...“ И предложи́л он свобóдной пти́це: „А ты подви́нься на крáй ущéлья и вниз бросáйся. Быть-мóжет, кры́лья тебя́ подни́мут, и поживёшь ещё немнóго в твоéй стихи́и.“ И дрóгнул Сóкол и, гóрдо кри́кнув, пошёл к обры́ву, скользя́ когтя́ми по сли́зи кáмня. И подошёл он, распрáвив кры́лья, вздохнýв всей грýдью, сверкнýв очáми, и вниз скати́лся. И сам, как кáмень, скользя́ по скáлам, он бы́стро пáдал, ломáя кры́лья, теря́я пéрья... Волнá потóка его́ схвати́ла и, кровь омы́вши, одéла в пéну, умчáла в мóре. А вóлны мóря с печáльным рёвом о кáмень би́лись.... И трýпа пти́цы не ви́дно бы́ло в морскóм прострáнстве....

В ущéлье лёжа, Уж дóлго дýмал о смéрти пти́цы, о стрáсти к нéбу. И вот взглянýл он в ту даль, что вéчно ласкáет óчи мечтóй о счáстье.—„А что он ви́дел, умéрший Сóкол, в пусты́не э́той без днá и крáя? Зачéм таки́е, как он, умéрши, смущáют дýшу своéй любóвью к полётам в нéбо? Что им там я́сно? А я, ведь, мóг бы узнáть всё э́то, взлетéвши в нéбо хоть ненадóлго.“ Сказáл и—сдéлал. В кольцó свернýвшись, он гря́нул в вóздух и ýзкой лéнтой блеснýл на сóлнце. Рождённый пóлзать—летáть не мóжет!.. Забы́в об э́том, он пáл на кáмни, но не уби́лся, а а рассмея́лся.... Так вот в чём прéлесть полéтов в нéбо! Онá—в падéньи! Смешны́е пти́цы! Земли́ не знáя, на ней тоскýя, они стремя́тся высóко в нéбо и и́щут жи́зни в пусты́не знóйной. Там тóлько пýсто. Там мнóго свéта, но нéт тáм пи́щи и нéт опóры живóму тéлу. Зачéм же гóрдость? Зачéм укóры? Затéм, чтóбы éю прикры́ть безýмство свои́х желáний и скры́ть за ни́ми свою́ негóдность для дéла жи́зни? Смешны́е пти́цы!... Но не обмáнут те-

пе́рь уж бо́льше меня́ их ре́чи! Я са́м всё зна́ю! Я—ви́дел не́бо... Взлета́л в него́ я, его́ изме́рил, позна́л паде́нье, но не разби́лся, а то́лько кре́пче в себя́ я ве́рю. Пу́сть те, что зе́млю люби́ть не мо́гут, живу́т обма́ном. Я зна́ю пра́вду. И их призы́вам я не пове́рю. Земли́ творе́нье землёй живу́ я. И он сверну́лся в клубо́к на ка́мне, горде́сь собо́ю. Блесте́ло мо́ре всё в я́рком све́те, и гро́зно во́лны о бе́рег би́лись. В их льви́ном ре́ве греме́ла пе́сня о го́рдой пти́це; дрожа́ли ска́лы от их уда́ров; дрожа́ло не́бо от гро́зной пе́сни: „Безу́мству хра́брых поём мы сла́ву! Безу́мство хра́брых —вот му́дрость жи́зни! О, сме́лый Со́кол! В бою́ с врага́ми истёк ты кро́вью... Но бу́дет вре́мя, и ка́пли кро́ви твое́й горя́чей, как и́скры, вспы́хнут во мра́ке жи́зни и мно́го сме́лых серде́ц зажгу́т безу́мной жа́ждой свобо́ды, све́та! Пуска́й ты у́мер!... Но в пе́сне сме́лых и си́льных ду́хом всегда́ ты бу́дешь живы́м приме́ром, призы́вом го́рдым к свобо́де, к све́ту! Безу́мству хра́брых поём мы пе́сню!...“

М. Го́рький.

---

5. Лягу́шка-путеше́ственница.

Жила́-была́ на све́те лягу́шка-кваку́шка. Сиде́ла она́ в боло́те, лови́ла комаро́в да мо́шку, весно́ю гро́мкоква́кала вме́сте со свои́ми подру́гами. И весь век она прожила́ бы благополу́чно, коне́чно, если бы не с‘ел её а́ист. Но случи́лось одно́ происше́ствие.

Одна́жды она́ сиде́ла на сучке́ вы́сунувшейся из воды́ коря́ги и наслажда́лась тёплым ме́лким до́ждиком.

Вдруг то́нкий свистя́щий звук разда́лся в во́здухе. Есть така́я поро́да у́ток: когда́ они́ летя́т, то их кры́лья, рассека́я во́здух, то́чно пою́т и́ли, лу́чше сказа́ть, посви́стывают; фью-фью-фью-фью раздаётся в во́здухе, когда́ лети́т высоко́ над ва́ми ста́до таки́х у́ток, а их сами́х да́же и не ви́дно—так они́ высоко́ летя́т. На э́тот раз у́тки, описа́в огро́мный полукру́г, спусти́лись и се́ли как раз в то са́мое боло́то, где́ жила́ лягу́шка.

— Кря, кря!—сказа́ла одна́ из них.—Лете́ть ещё далеко́; на́до поку́шать.

И лягу́шка сейча́с же спря́талась. Хотя́ она́ и зна́ла, что у́тки не ста́нут есть её, большу́ю и то́лстую кваку́шку, но всё-таки, на вся́кий слу́чай, она́ нырну́ла под коря́гу. Одна́ко, поду́мав, она́ реши́лась вы́сунуть из воды́ свою лупогла́зую го́лову: ей бы́ло о́чень интере́сно узна́ть, куда́ летя́т у́тки.

— Кря, кря!—сказа́ла друга́я у́тка.—Уж хо́лодно стано́вится! Скоре́й на юг! скоре́й на юг!

И все у́тки ста́ли гро́мко кря́кать в знак одобре́ния.

— Госпожи́ у́тки!—осме́лилась сказа́ть лягу́шка.—Что тако́е юг, на кото́рый вы лети́те? Прошу́ извине́ния за беспоко́йство.

И у́тки окружи́ли лягу́шку. Снача́ла у них яви́лось жела́ние с'есть её, но ка́ждая из них поду́мала, что лягу́шка сли́шком велика́ и не проле́зет в го́рло. Тогда́ все они́ на́чали крича́ть, хло́пая кры́льями:

— Хорошо́ на ю́ге! Тепе́рь там тепло́! Там есть таки́е сла́вные тёплые боло́та! Каки́е там червяки́! Хорошо́ на ю́ге!.

Они́ так крича́ли, что почти́ оглуши́ли лягу́шку. Едва́-едва́ она́ убеди́ла их замолча́ть и попроси́ла одну́ из них, кото́рая каза́лась ей то́лще и умне́е всех, об'ясни́ть ей, что тако́е юг. И когда́ та рассказа́ла ей о ю́ге, то лягу́шка пришла́ в восто́рг, но в конце́ всё-таки спроси́ла, потому́ что была́ осторо́жна:

— А мно́го ли там мо́шек и кома́ров?

— О! це́лые ту́чи!—отвеча́ла у́тка.

— Возьми́те меня́ с собо́й!

— Это мне удиви́тельно!—воскли́кнула у́тка.—Как мы тебя́ возьмём: у тебя́ нет кры́льев.

— Когда́ вы лети́те?—спроси́ла лягу́шка.

— Ско́ро, ско́ро!—закрича́ли все у́тки.—Кря! кря! кря! кря! Тут хо́лодно! На юг! на юг!

Позво́льте мне поду́мать то́лько пять мину́т,—сказа́ла лягу́шка:—я сейча́с верну́сь; я, наве́рное, приду́маю что-нибу́дь хоро́шее. И она́ шлёпнулась с сучка́, на кото́рый бы́ло снова влезла, в во́ду, нырну́ла в ти́ну и соверше́нно зары́лась в ней, чтобы посторо́нние предме́ты не меша́ли ей размышля́ть. Пять мину́т прошло́; у́тки совсе́м уж бы́ло собрали́сь лете́ть, как вдруг из воды́, о́коло сучка́, на кото́ром сиде́ла лягу́шка, показа́лась её мо́рда, и выраже́ние э́той мо́рды бы́ло са́мое сия́ющее, на како́е то́лько спосо́бна лягу́шка.—Я приду́мала! я нашла́!—сказа́ла она́. —Пусть две из вас возьму́т в свои́ клю́вы пру́тик, а я прицеплю́сь за него́ посреди́не. Вы бу́дете лете́ть, а я—е́хать. Всё бу́дет превосхо́дно.

Хотя́ молча́ть и тащи́ть, хотя́ бы и лёгкую лягу́шку, три ты́сячи вёрст не бог зна́ет како́е удово́льствие, но её ум привёл у́ток в тако́й восто́рг, что они́ единоду́шно согласи́лись нести́ её. Реши́ли переменя́ться ка́ждые два часа́, и так как у́ток бы́ло, как говори́тся в зага́дке, сто́лько, да ещё сто́лько, да полсто́лько, да че́тверть сто́лько, а лягу́шка была́ одна́, то нести́ её приходи́лось не осо́бенно ча́сто. Нашли́ хоро́ший, про́чный пру́тик; две у́тки взя́ли его́ в клю́вы, лягу́шка прицепи́лась ртом за середи́ну, всё ста́до подняло́сь на во́здух. У лягу́шки захвати́ло дух от стра́шной высоты́, на кото́рую её по́дняли; кро́ме того́, у́тки

летéли нерóвно и дёргали прýтик; бéдная квакýшка болтáлась в вóздухе и изо всéй мóчи стúскивала свои чéлюсти, чтóбы не оторвáться и не шлёпнуться на зéмлю. Однáко, онá скóро привы́кла к своемý положéнию и дáже началá осмáтриваться. Под нею бы́стро проносúлись поля́, рéки и гóры, котóрые ей, впрóчем, бы́ло óчень трýдно рассмáтривать; но кое-что всё-таки онá вúдела и рáдовалась и гордúлась.

„Вот как я превосхóдно придýмала,“ дýмала онá про себя́.

А ýтки летéли вслед за нéсшей её передней пáрой, кричáли и хвалúли её.

— Удивúтельно ýмная головá нáша лягýшка!—говорúли онú.—Дáже междý ýтками мáло такúх найдётся.

Онá едвá удéрживалась, чтóбы не поблагодарúть; но, вспóмнив, что, откры́в рот, онá свáлится с стрáшной высоты́, ещё крéпче стúснула чéлюсти и решúлась терпéть. Она болтáлась такúм óбразом цéлый день: нéсшие её утки переменя́лись на летý, лóвко подхвáтывая прýтик; э́то бы́ло óчень стрáшно. Вéчером вся компáния остановúлась в какóм-то болóте; с зарёю ýтки с лягýшкой снóва пустúлись в путь. Утки летéли над сжáтыми поля́ми, над пожелтéвшими лесáми и над деревнями, пóлными хлéба в скирдáх; оттýда доносúлся людскóй гóвор и стук цепóв, котóрыми молотúли рожь. Люди смотрéли на стáю ýток и, замечáя в ней что-то стрáнное, покáзывали на неё рукáми. Лягýшке ужáсно захотéлось летéть поближе к землé, показáть себя́ и послýшать, что о ней говоря́т. На слéдующем óтдыхе онá сказáла:

— Нельзя́ ли нам летéть не так высокó? У меня́ от высоты́ кружúтся головá, и я боюсь свалúться, éсли мне вдруг сдéлаетя дýрно.

И дóбрые ýтки обéщали ей летéть понúже. На слéдующий день онú летéли так нúзко, что слы́шали голосá:

— Смотрúте, смотрúте!—кричáли дéти в однóй деревне.— Утки лягýшку несýт.

Лягýшка слы́шала э́то, и у неё пры́гало сéрдце.

— Смотрúте, смотрúте!—кричáли в другóй деревне взрóслые.—Вот чýдо-то!

„Знáют ли онú, что э́то придýмала я, а не ýтки?“ подýмала квакýшка.

— Смотрúте, смотрúте!—кричáли в трéтьей деревне.— Экое чýдо! И кто э́то придýмал такýю хúтрую штýку?

Тут лягýшка ужé не вы́держала и, забы́в вся́кую осторóжность, закричáла изо всéй мóчи:

— Это я! я!

И с э́тим кри́ком она́ полете́ла вверх торма́шками на зе́млю. Утки гро́мко закрича́ли; одна́ из них хоте́ла подхвати́ть бе́дную спу́тницу на ле́ту, но промахну́лась. Лягу́шка, дры́гая всеми четырьмя́ ла́пами, бы́стро па́дала на зе́млю и бултыхну́лась в гря́зный пруд на краю́ дере́вни.

Она́ ско́ро вы́нырнула из воды́ и то́тчас же опя́ть сгоряча́ закрича́ла во всё го́рло:

— Это я! э́то я приду́мала!

Но вокру́г её никого́ не́ было. Испу́ганные неожи́данным пле́ском, ме́стные лягу́шки все попря́тались в во́ду. Когда́ они́ на́чали пока́зываться из неё, то с удивле́нием смотре́ли на но́вую.

И она́ расска́зала им чу́дную исто́рию о том, как она́ ду́мала всю жизнь и, наконе́ц, изобрела́ но́вый необыкнове́нный спо́соб путеше́ствия на у́тках; как у неё бы́ли свои́ со́бственные у́тки, кото́рыя носи́ли её, куда́ ей бы́ло уго́дно; как она побыва́ла на прекра́сном ю́ге, где так хорошо́, где таки́е прекра́сные, тёплые боло́та и так мно́го мо́шек и вся́ких други́х съедо́бных насеко́мых.

— Я зае́хала к вам посмотре́ть, ка́к вы живёте,—сказа́ла она́.—Я пробу́ду у вас до весны́, пока́ не верну́тся мои́ у́тки, кото́рых я отпусти́ла.

Но у́тки уже́ никогда́ не верну́лись. Они́ ду́мали, что ква́ку́шка разби́лась о зе́млю, и о́чень жале́ли её.

В. Га́ршин.

---

6. Япо́нская сказка.

Был в Япо́нии когда́-то молодо́й каменотёс; день и ночь бедня́к труди́лся, а не ра́достно жило́сь.

Раз, нама́явшись рабо́той, стал ропта́ть наш паре́нь: „Эх, е́сли б сде́латься бога́тым—то́-то в жи́зни тьма утéх!

Ешь и пей, что пожела́ешь, спи на мя́гких тюфяка́х...“ Услыха́л те ре́чи а́нгел, пролета́вший в небеса́х.

„Будь по-тво́ему“, — сказа́л он. И рабо́тник богачо́м ми́гом сде́лался—лежи́т он и не ту́жит ни о чём.

Вдру́г вблизи́ его́ прохо́дит импера́тор. Что́ за ви́д: скорохо́ды, сви́та, зо́нтик, ши́тый зо́лотом, блести́т!

„Эка шту́ка быть бога́тым,—говори́т каменотёс,—если́ б был я импера́тор, вот тогда́ бы мне жило́сь!“

—„Хорошо́,—промо́лвил а́нгел,—бу́дь по-тво́ему...“ И вдру́г па́рень смо́трит—то́чно, ста́л он импера́тором: вокру́г бле́щет сви́та, скорохо́ды впереди́ бегу́т толпо́й, и над ним, распу́щен, ве́ет зо́нтик я́рко-золото́й.

То́лько всё ж под э́тим зо́нтом жа́рко со́лнце, раскаля́сь, на плита́х доро́ги бле́щет и несно́сно ре́жет гла́з.

„Эка шту́ка импера́тор! — вскри́кнул па́рень. — Со́лнца свет всё ж сильне́й его́: быть со́лнцем вы́ше в ми́ре до́ли не́т!“

- „Бу́дь же со́лнцем,—мо́лвил а́нгел“. Со́лнцем ста́л каменоте́с, и броса́л лучи́ он с не́ба, и тепло́ его́ лило́сь на поля́ и на дере́вья...

Вдру́г меж со́лнцем и землёй ста́ла ту́ча и закры́ла бле́ск свети́ла золото́й.

„Что́ ж за ра́дость бы́ть мне́ со́лнцем? — вскри́кнул па́рень наш.—Свети́ть мне́ меша́ет ту́ча: ту́чей я жела́л бы лу́чше бы́ть!“

— „Хорошо́,—промо́лвил а́нгел, — преврати́ся в ту́чу“. Он ста́л вдру́г ту́чей и понёсся, омрача́я небоскло́н.

Над землёй, спалённой зно́ем, разлился́ о́н с высоты́, оживи́л поля́ и ни́вы, и дере́вья, и цветы́.

Но сильне́е и сильне́е разлива́яся дождём, затопи́ла ту́ча ско́ро всё, что ви́делось круго́м.

Бу́рно ре́ки и озёра вы́шли во́н из берего́в, всё сокры́лось в бе́здне тёмной ди́ко плеща́щих вало́в.

Ли́шь оди́н утёс средь пе́ны я́рых во́д стоя́л: пе́ред ним тще́тно во́лны рокота́ли, о́н был твёрд и невреди́м.

“Что́ за ра́дость бы́ть мне́ ту́чей? — говори́т каменотёс.— На́д мое́ю гро́зной си́лой насмеха́ется утёс“.

—„Хоро́шо,—промо́лвил а́нгел,—бу́дь утёсом, он и го́рдо в пе́не во́лн се́дых возни́к.

„Тще́тно, — ду́мал он, — грозя́т мне во́лны: я могу́ч, и ве́к бу́ду ту́т стоя́ть...“ Вдру́г ви́дит он: подхо́дит челове́к с молотко́м и ло́мом, ти́хо взгромозди́лся на бока́ камени́стого утёса и уда́ром молотка́ стал сбива́ть за ка́мнем ка́мень...

„Как!—вскрича́л каменотёс.—Мо́жет сла́бою руко́ю челове́к разби́ть утёс?

Пу́сть я ста́ну вно́вь рабо́чим, пу́сть трудо́м я ста́ну жи́ть: ви́жу я, труда́ могу́чей ничего́ не мо́жет быть!“

—„Хорошо́,—промо́лвил а́нгел, — будь по-тво́ему...“ И он сно́ва бы́л в каменотёса ду́хом не́ба превращён.

В. Буре́нин.

---

7. Башки́рская руса́лка.

Между́ Ачулы́-Ку́лем и Ди́мою кочева́л в дре́вние времена́ хан Сама́р-хан, оди́н из сынове́й Чинги́са. У Сама́р-ха́на был сын Зая́-Туля́к. Юный князь был люби́мец отца́ и ма́тери свое́й, прекра́сной пле́нницы ру́сской, кото́рая пла́кала и тоскова́ла по ми́лой отчи́зне свое́й, поку́да не излила́ тоску́-гру́сть свою́ в не́-

вое существо́ и—забы́лась в сы́не. Зая́-Туля́ка берегли́ и хо́лили, как ца́рского ба́ловня и люби́мца; он был хоро́ш, как со́лнце, и не́ было на Ди́ме досто́йной его́ луны́. Зави́стливые бра́тья Туля́ка, сыновья́ други́х жён Сама́р-ха́на, озло́бились на ба́ловня: „чем он лу́чше нас, за что его́ хо́лят, как зени́цу о́ка, не выпуска́ют за поро́г киби́тки ха́нской, между тем как нас заставля́ют нести́ слу́жбу и забо́титься о сует́ах жите́йских? ра́зве мы не одно́й с ним кро́ви?“

А Зая́-Туля́к ду́мал в э́то вре́мя: зачё́м мне́ не даю́т во́ли— хочу́ во́ли, свобо́ды, а не плё́на! Зачё́м бра́тья мои́ об‘езжа́ют свобо́дно отцо́вские зё́мли, из кра́я в кра́й, из конца́ в коне́ц, деру́тся с врага́ми и приво́дят ясыре́й, плё́нников и плё́нниц,— а я сижу́, сложа́ ру́ки? О, е́сли бы мне была́ во́ля! Я бы себе́ отыска́л и взял и привё́з не таку́ю плё́нницу, как бра́тья мои́: я нашё́л бы ди́вную краса́вицу, неслы́ханную и неви́данную!“

Сама́р-хан со́звал приближё́нных свои́х и велё́л им гото́виться к от‘е́зду. „Сы́ну моему́ Зая́-Туля́ку,“ сказа́л он: „пора́ уви́деть свет. Пусть он уви́дит его́ в пе́рвый раз с весё́лой, ра́достной стороны́, как до́лжен ви́деть его́ досто́йный внук Чинги́са, забира́йте с собо́ю лу́чших со́колов мои́х, ястребо́в, кре́четов и бе́ркутов, бе́йте у́тицу перелё́тную, бе́йте куртлука́, косача́-те́терева, пуска́йте бе́ркута на лису́ и во́лка, пусть потеша́ется ца́рский о́трок, и береги́те его́, как заве́тную ду́шу свою́!“

Зая-Туля́к, прости́вшись с отцо́м — ха́ном, сел на ло́шадь, и пы́шный пое́зд тро́нулся. Вельмо́жи раболе́пствовали ю́ноше, нео́пытному ца́рскому сы́ну, доко́ле ещё́ страши́лись проница́тельного о́ка Сама́р-ха́на; удали́вшись же от ха́нского кочё́вья, на́гло смея́лись простоте́ и неве́дению о́трока бе́лой ко́сти и поднесли́ ему́ сову́, кото́рую пойма́ли в дупле́, вме́сто отцо́вского „кре́чета“. Зая́ Туля́к, ни вида́вши тра́вли соколи́ной и не зна́вши ло́вчих птиц, пове́рил им на́ сло́во, пусти́л пти́цу свою́ на пе́рвую встре́чную верени́цу ди́ких гусе́й, тяну́вшихся кли́ном; пти́ца взмы́ла вы́ше гусе́й перелё́тных, поджа́ла маши́стые пле́чи, ри́нулась клубо́чком в ста́ю, уда́рилась стрело́ю впра́во, пото́м вле́во, опя́ть впра́во, промелькну́ла, зубча́тою мо́лниею ныря́я ка́ждый раз се́рому гу́сю под ле́вое крыло́—и семь гусе́й сря́ду полете́ли ку́барем на́ зе́млю. Ста́я всполоши́лась, перемеша́лась в оди́н клубо́к, подняла́сь столбо́м, гу́си хоте́ли заби́ть кры́льями де́рзкого неприя́теля своего́, но ло́вчая Зая-Туля́ка пти́ца ка́мешком упа́ла на хозя́ина своего́ и сиде́ла уже́ у него́ на пра́вой руке́. Оказа́лось, что э́то была́ не сова́, а дорого́й бе́лый кре́чет, и бил лу́чше всех соколо́в ца́рских.

Зло́бные и зави́стливые бра́тья Зая́-Туля́ка, отпуска́я придво́рных отцо́вских, сказа́ли им при́тчу: „те́сно трём отро́сткам рости́ на одно́м ко́рне и ма́ло им пи́щи: е́сли бы подчи́стить и вы́кинуть оди́н, кото́рый бли́же други́х к дупли́стому ду́бу, так двум остальны́м бы́ло бы поприво́льнее; перевели́ бы они́ дух и распусти́ли бы широ́кие ве́тви, под кото́рыми нашли́ бы со вре́менем тень и ны́нешние их покрови́тели". Придво́рные и сам Куш-бе́ги, пе́рвый соко́льничий—промолча́ли; но когда́ зае́хали они́ с Шах—Заде́, с сы́ном ха́нским, в далёкую сто́рону, и когда́ неуда́чная насме́шка над Зая́-Туля́ком поста́вила их сами́х в дураки́, между тем как у Туля́ка оказа́лся пе́рвый по ца́рству кре́чет, кото́рый побива́л ра́зом по семи́ гусе́й—тогда́ взяла́ людей э́тих зло́сть и за́висть; они́ вспо́мнили слова́ и обеща́ние двух князе́й, бра́тьев Зая́-Туля́ка, и ста́ли сове́т сове́товать, как извести́ пове́ренного им насле́дника.

Зая́-Туля́к вы́шел в све́тлую лу́нную ночь из парчёвого шатра́ своего́, сел на́земь и любова́лся между́ тем, как юлдаши́ его́, спу́тники, ду́мали, что он давно́ спит; он услы́шал нечести́вый сове́т вельмо́ж и реши́лся бежа́ть. Подкра́вшись потихо́ньку к осёдланному коню́ своему́, снял он с него́ трено́гу, потрепа́л его́, сел и поскака́л.

Но в ста́не сде́лалась трево́га, закрича́ли: „атлём! на́ конь!" погнали́сь за кня́зем и ста́ли его настига́ть. Под ним была́ ло́шадь Тульфа́р; она́ сказа́ла хозя́ину: „уда́рь меня нага́йкою три́жды, и я тебя́ вы́несу." Он уда́рил жеребца́ своего́, и э́тот в три скачка́ принёс его́ на́ го́ру Карага́ч, к о́зеру Ячулы́. Пого́ня потеря́ла Зая́-Туля́ка, а он споко́йно лёг отдыха́ть, пусти́в Тульфа́ра своего́ на траву́.

Конь его проскака́л по сте́пи в таки́х широ́ких скачка́х, что пусти́вшиеся за Туля́ком не могли́ вы́следить его́ по измя́той копы́тами траве́: следы́ бы́ли затёряны.

Раски́нувшись на одно́м из усту́пов Карага́ча, на кото́ром, как пока́зывает и са́мое назва́ние, в те по́ры рос ли́ственный лес, Зая́-Туля́к закры́л о́чи, стал ду́мать о том, куда́ ему тепе́рь дева́ться, как вдруг услы́шал на берегу́ о́зера плеск. Зая́-Туля́к стал присма́триваться, легонько подходи́ть, и его́ тяну́ло всё бли́же и бли́же к о́зеру. Он уви́дел, чего́ ещё никогда́ не вида́л: заря́ занима́лась; восто́к але́л, у́тренние тума́ны развива́лись на пове́рхности Ачулы́-куля—и среди́ тума́нов э́тих, как оку́танная полупрозра́чными тка́нями, плеска́лась де́ва вод, ста́тная, ги́бкая, красоты́ непоме́рной, во всей пре́лести де́вственной полноты́ и милови́дности. Она, не примеча́я Зая́-Туля́ка, вы́шла на́ бе́рег, се́ла и ста́ла расчёсывать золоты́м гре́бнем чёрную ко́су свою́, длино́ю со́рок махові́х са́жен. Зая́-Туля́к не смел дохну́ть; на-

конéц, когдá онá закúнула кóсу свою назáд, во всю длинý, он кúнулся со всéх ног—русáлка прянула, как жук от вéтра, на зыбкую влáгу; но Зая́-Туля́к держáл ужé в рукáх своúх шёлковую кóсу и не выпускáл дорогýю свою плéнницу. Русáлка, скрестúв рýки на грудú, оборотúла к немý умоляющие взóры; но онú изменúли дéвственной жилúще подвóдных чертóгов: Зая́-Туля́к впился́ жáдным óком в полуобращённое лúчико и держáлся за шёлковую кóсу русáлки, как юная угáсающая жизнь хватáется за преждеврéменно отлетáющую дýшу. Русáлка стáла умоля́ть Зая́-Туля́ка: „пустú меня́, о, сын плóти! пустú; я живý спокóйно и безмятéжно в чертóгах вóдных; пустú, рáди себя́ самогó: ты погýбишь меня́, но ты погýбишь и себя́!“ Когдá же Зая́-Туля́к не уступáл и сáмым убедúтельным мольбáм её, а кляся́ слéдовать за нéю и на дно óзера, тогдá русáлочка обвилá егó своéю мя́гкою косóю и увлеклá в глубóкие вóды.

В. И. Даль.

---

8. Ашúк-Керúб. *(Турéцкая скáзка).*

Давнó томý назáд в гóроде Тифлúсе жил одúн богáтый тýрок. Мнóго Аллáх дал емý зóлота; но дорóже зóлота былá емý едúнственная дочь, Магýль-Мегерú. Хорошú звёзды на небесú, но за звёздами живýт áнгелы, и онú ещё лýчшее: так и Магýль-Мегерú былá лýчше всех дéвушек Тифлúса. Был тáкже в Тифлúсе бéдный Ашúк-Керúб. Прорóк не дал емý ничегó, крóме высóкого сéрдца и дáра пéсен. Игрáя на саазé (балалáйке) и прославля́я дрéвних вúтязей Туркестáна, ходúл он по свáдьбам увеселя́ть богáтых и счастлúвых. На однóй свáдьбе он увúдел Магýль-Мегерú, и онú полюбúли друг дрýга. Мáло бы́ло надéжд у Ашúк-Керúба получúть её рýку, и он стал грýстен, как зúмнее нéбо.

Вот раз он лежáл в садý под виногрáдником и наконéц заснýл. В э́то врéмя шла мúмо Магýль-Мегерú с своúми подрýгами, и однá из них, увúдев спáвшего Ашúка (балалáечника), отстáла и подошлá к немý. „Что ты спишь под виногрáдником,“ запéла онá: „вставáй, безýмный, твоя́ газéль идёт мúмо.“ Он проснýлся; дéвушка порхнýла прочь, как птúчка. Магýль-Мегерú слы́шала её пéсню и стáла её бранúть. „Если б ты знáла,“ отвечáла та, „комý я пéла пéсню, ты б меня поблагодáрúла: э́то твой Ашúк-Керúб.“—„Ведú меня́ к немý!“ сказáла Магýль-Мегéри, и онú пошлú. Увúдев его печáльное лицó, Магýль-Мегерú стáла его спрáшивать и утешáть.—„Как мне не грустúть“, отвечáл Ашúк-Керúб: „я тебя́ люблю, и ты никогдá не

бу́дешь мое́ю!“—„Проси́ мою́ ру́ку у отца́ моего́,“ говори́ла она́: „ и отец мой сыгра́ет на́шу сва́дьбу на свои де́ньги и наградит меня́ сто́лько, что нам вдвоём доста́нет.“—

„Хорошо́,“ отвеча́л он: „поло́жим, Ая́к-ага́ ничего́ не пожале́ет для свое́й до́чери; но кто зна́ет, что по́сле ты не бу́дешь меня́ упрека́ть в том, что я ничего́ не име́л и тебе́ всем обя́зан? Нет, ми́лая Магу́ль-Мегери́, я положи́л заро́к на свою́ ду́шу: обеща́юсь семь лет стра́нствовать по све́ту и нажи́ть себе́ бога́тство, ли́бо поги́бнуть в да́льних пусты́нях. Если ты согла́сна на э́то, то по истече́нии сро́ка буде́шь мое́ю.“ Она согласи́лась, но прибавила, если в назна́ченный день он не вернётся, то она́ сде́лается жено́ю Куршу́д-бе́ка, кото́рый уже́ давно́ за нее сва́тается.

Пришёл Аши́к-Кери́б к свое́й ма́тери, взял на доро́гу её благослове́ние, поцелова́л ма́ленькую сестру́, пове́сил че́рез плечо́ су́мку, оперся́ на по́сох стра́нничий и вы́шел из го́рода Тифли́са. И вот догоня́ет его вса́дник; он смо́трит: это Куршу́д-бек. „До́брый путь!“ крича́л ему́ бек: „куда́ бы ты ни шёл, стра́нник, я твой това́рищ.“ Не рад был Аши́к своему́ това́рищу, но не́чего де́лать. До́лго они́ шли вме́сте; наконе́ц зави́дели пе́ред собо́ю реку́. Ни моста́, ни бро́да. „Плыви́ вперёд,“ сказа́л Куршу́д-бек: „я за тобо́ю после́дую.“ Аши́к сбро́сил ве́рхнее пла́тье и по́плыл.

Перепра́вившись, глядь назад—о горе! о всемогу́щий Алла́х!—Куршу́д-бек, взяв его́ оде́жду, уе́хал обра́тно в Тифли́с; то́лько пыль вила́сь за ним змеёю по гла́дкому по́лю. Прискака́в в Тифли́с, несёт бек пла́тье Аши́к-Кери́ба к его ста́рой ма́тери. „Твой сын утону́л в глубо́кой реке́,“ говори́т он: „вот его́ оде́жда.“ В невырази́мой тоске́ упа́ла ма́ть на оде́жды люби́мого сына и ста́ла облива́ть их жа́ркими слеза́ми; пото́м взяла́ их и понесла́ к наречённой неве́стке своей, Магу́ль-Мегери́. „Мой сын утону́л,“ сказа́ла она́ ей: „Куршу́д-бек привёз его оде́жды; ты свобо́дна.“ Магу́ль-Мегери́ улыбну́лась и отвеча́ла: „Не верь: это всё вы́думки Куршу́д-бе́ка. Пре́жде истече́ния семи́ лет никто́ не бу́дет мои́м му́жем.“ Она взяла́ со стены́ свою́ саа́з и споко́йно начала́ петь люби́мую пе́сню бе́дного Ашик-Кери́ба. Ме́жду те́м стра́нник пришёл бос и наг в одну́ дере́вню.

До́брые лю́ди оде́ли его́ и накорми́ли; он за э́то пел им чуде́сные пе́сни. Таки́м о́бразом переходи́л он из дере́вни в дере́вню, из го́рода в го́род, и сла́ва его разнесла́сь повсю́ду. При́был он наконе́ц в Хала́ф. По обыкнове́нию, вошёл в кофе́йный дом, спроси́л саа́з и стал петь. В э́то вре́мя жил в Хала́фе паша́, большо́й охо́тник до пе́сенников. Мно́гих к нему́ приводи́ли— ни оди́н ему́ не понра́вился. Его чау́ши измучились, бе́гая по

го́роду. Вдруг, проходя́ ми́мо кофе́йного до́ма, слы́шат удиви́тельный го́лос. Они́ туда́. „Иди́ с на́ми к вели́кому паше́,“ закрича́ли они́: „и́ли ты отвеча́ешь нам голово́ю.“—„Я челове́к во́льный, стра́нник из го́рода Тифли́са,“ говори́т Ашик-Кери́б: „хочу́—пойду́, хочу́—нет; пою́, когда́ приде̇́тся, и ваш паша́ мне не нача́льник“. Одна́ко, не смотря́ на то, его схвати́ли и привели́ к паше́. „Пой!“ сказа́л паша́; и он запе́л. И в э́той пе́сне он сла́вил свою́ дорогу́ю Магу́ль-Мегери́; и э́та пе́сня так понра́вилась го́рдому паше́, что он оста́вил у себя́ бе́дного Аши́к-Кери́ба. Посы́палось к нему́ серебро́ и зо́лото, заблиста́ли на не̇́м бога́тые оде̇́жды. Счастли́во и ве́село стал жить Аши́к-Кери́б, и сде́лался о́чень бога́т. Забы́л он свою́ Магу́ль-Мегери́ или нет—не зна́ю; то́лько срок истека́л. После́дний год ско́ро до́лжен был ко́нчиться, а он не гото́вился к от‘е́зду. Прекра́сная Магу́ль-Мегери́ ста́ла отча́яваться.

В э́то вре́мя отправля́лся оди́н купе́ц с карава́ном из Тифли́са с сорока́ верблю́дами и 80 нево́льниками. Призыва́ет она́ купца́ к себе́ и дае̇́т ему́ золото́е блю́до. „Возьми́ ты э́то блю́до“, говори́ла она́: „и в како́й бы ты го́род ни прие́хал, вы́ставь э́то блю́до в свое́й ла́вке и об‘яви́ везде́, что тот, кто призна́ется моему́ блю́ду хозя́ином и дока́жет э́то, полу́чит его́ и, вдоба́вок, вес его зо́лотом“. Отпра́вился купе́ц; везде́ исполня́л поруче́ние Магу́ль-Мегери́, но никто́ не призна́лся хозя́ином золото́му блю́ду. Уж он про́дал почти́ все свои́ това́ры и прие́хал с остальны́ми в Хала́ф. Об‘яви́л он везде́ поруче́ние Магу́ль-Мегери́. Услыха́в это, Аши́к-Кери́б прибега́ет в карава́н—сара́й и ви́дит золото́е блю́до в ла́вке тифли́сского купца́. „Это моё!“ сказа́л он, схвати́в его́ руко́ю.—„То́чно твоё“, сказа́л купе́ц: „я узна́л тебя́, Аши́к-Кери́б. Ступа́й же скоре́е в Тифли́с: твоя́ Магу́ль-Мегери́ веле́ла тебе́ сказа́ть, что срок истека́ет, и если ты не бу́дешь в назна́ченный день, то она́ вы́йдет за друго́го“. В отча́янии Аши́к-Кери́б схвати́л себя́ за́ го́лову: остава́лось то́лько три дня до рокового́ ча́са. Одна́ко он сел на коня́, взял с собо́ю суму́ с золоты́ми моне́тами и поскака́л, не жале́я коня́.

Наконе́ц измучённый бегу́н упа́л бездыха́нный на Арзинья́н горе́, что между́ Арзинья́ном и Арзеру́мом. Что ему́ бы́ло де́лать? От Арзинья́на до Тифли́са два ме́сяца езды́, а остава́лось то́лько два дня. „Алла́х всемогу́щий!“ воскли́кнул он: „е́сли ты уж мне не помо́жешь, то мне́ не́чего на земле́ де́лать!“ И хо́чет он бро́ситься с высо́кого уте́са. Вдруг ви́дит внизу́ челове́ка на бе́лом коне и слы́шит гро́мкий го́лос: „Огла́н (ю́ноша), что ты хо́чешь де́лать?“ — „Хочу́ умере́ть“, отвеча́л Аши́к. — „Слеза́й же сюда́, е́сли так, я тебя́ убью́“.

Ашик спустился кое-как с утёса. „Ступай за мною“, сказал грозно всадник. — „Как я могу за тобою следовать“, отвечал Ашик: „твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою“.— „Правда. Повесь же суму свою на седло моё и следуй“. Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. „Что же ты отстаёшь?“ спросил всадник.—„Как же я могу следовать за тобою: твой конь быстрее мысли, а я уже измучен“. — „Правда. Садись сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать?“ — „Хоть бы в Арзерум поспеть нынче“, отвечал Ашик.—„Закрой же глаза“. Он закрыл. „Теперь открой“. Смотрит Ашик: „перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума. „Виноват, ага“, сказал Ашик: „я ошибся; я хотел сказать, что мне надо в Карс“. —„То-то же!“ отвечал всадник, „я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой“. Ашик себе не верил, что это Карс. Он упал на колени и сказал: „Виноват, ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб; но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня. Мне, по-настоящему, надо в Тифлис“.— „Экой ты неверный!“ сказал сердито всадник: „но, нечего делать, прощаю тебе. Закрой же глаза: Теперь открой“, прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику: „Ага, конечно, благодеяние твоё велико; но сделай ещё больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит: дай мне какое-нибудь доказательство“.— „Наклонись“, сказал тот улыбнувшись: „возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху, и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уже в этом положении, помажь ей глаза— и она увидит“. Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову—всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что покровитель был не кто иной, как Хадеримаз.

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащею рукою, говоря: „Ана, ана (мать), отвори! я божий гость, и холоден, и голоден: прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня“. Слабый голос старухи отвечал ему: „Для ночлега есть дома богатых и сильных; есть теперь в городе свадьбы — ступай туда: там можешь провести ночь в удовольствии“. — „Ана“, отвечал он: „я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего своего сына впусти меня!“ Тогда сестра его говорит матери: „Мать, я встану и отворю ему двери“. —

„Негóдная!“ отвечáла старýха: „ты рáда принимáть молоды́х людéй и угощáть их, потомý что вот уже семь лет, как я от слёз потерáла зрéние“. Но дочь, не внимáя её упрёкам, встáла, отворúла дверь и впустúла Ашúк-Керúба. Сказáв обычное привéтствие, он сел и с тáйным волнéнием стал осмáтриваться. И видúт он: на стенé висúт, в пы́льном чехлé, его сладкозвýчная саáз, и стал спрáшивать у мáтери: „Что висúт у тебя́ на стенé?“— „Любопы́тный ты гость“, отвечáла онá: „бýдет и тогó, что тебе дадýт кусóк хлéба и зáвтра отпýстят тебя́ с богом“. — Я уже сказáл тебé!“ возразúл он: „что ты моя́ роднáя мать, а это сестрá моя, и потомý прошý об‘яснúть мне, что это висúт на стенé?“ — „Это саáз, саáз“, отвечáла старýха сердúто, не вéря емý. „А что знáчит саáз?“—„Саáз то знáчит, что на ней игрáют и поют пéсни“. И прóсит Ашúк-Керúб, чтоб онá позвóлила сестрé снять саáз и показáть емý. „Нельзя́“, отвечáла старýха: „это саáз моегó несчáстного сы́на. Вот уже семь лет онá висúт на стенé, и ничья́ живáя рукá до неё не дотрáгивалась“. Но сестрá его встáла, сня́лá с стены́ саáз и отдáла емý. И он удáрил по мéдным стрýнам—и стрýны соглáсно заговорúли, и он нáчал петь: — „Я бéдный керúб (стрáнник), и словá моú бедны́; но велúкий Хадеримáз помóг мне опустúться с крутóго утёса. Хотя́ я бéден и бедны́ словá моú, узнай меня́, мать, своегó стрáнника“. После этого мать его зарыдáла и спрáшивает его: „Как тебя́ зовýт?“—„Рашúд (простодýшный)“, отвечáл он. — „Раз говорú, другóй раз слýшай, Рашúд“, сказáла она: „своúми речáми ты изрéзал сéрдце моё в кускú. Ны́нешнюю нóчью я во снé вúдела, что на головé моéй вóлосы побелéли. Я вот ужé семь лет, как ослéпла от слёз. Скажú мне ты, котóрый имéешь его гóлос, когда мой сын придёт?“ И двáжды со слезáми она повторúла ему прóсьбу. Напрáсно он называ́л себя её сы́ном, но онá не вéрила. И спустя́ нéсколько врéмени, прóсит он: „Позвóльте, мáтушка, взять саáз и идтú; я слы́шал, здесь блúзко есть свáдьба; сестрá меня́ провóдит. Я бýду петь и игрáть, и всё, что получý, принесý сюдá и разделю с вáми“.—„Не позвóлю“, отвечáла старýха: „с тех пор как нет моегó сы́на, его саáз не выходúла из дóму“. Но он стал кля́сться, что не повредúт ни однóй струны́. „А éсли хоть однá струнá порвётся“, продолжáл Ашúк: „то отвечáю моúм имýществом“. Старýха ощýпала егó сумý и, узнáв, что онá напóлнена монéтами, отпустúла егó. Проводúв его до богáтого дóма, где шумéл свáдебный пир, сестрá остáлась у дверéй слýшать, что бýдет.

В этом дóме жилá Магýль-Мегерú, и в эту ночь онá должна былá сдéлаться женóю Куршýд-бека. Куршýд-бек пировáл с родны́ми и друзья́ми, а Магýль-Мегерú, сúдя за богáтою чадрóю

(за́навесом) с свои́ми подру́гами, держа́ла в одно́й руке́ ча́шу с я́дом, а в друго́й о́стрый кинжа́л: она́ покляла́сь умере́ть пре́жде, чем опу́стит го́лову на ло́же Куршу́д-бе́ка. И слы́шит она́ и́з-за чадры́, что пришёл незнако́мец, кото́рый говори́л: „Селя́м алейкю́м! вы здесь весели́тесь и пиру́ете, так позво́льте мне, бе́дному стра́ннику, сесть с ва́ми, и за то я спою́ вам пе́сню.“— „Почему́ же нет“? сказа́л Куршу́д-бек. „Сюда́ должны́ быть впуска́емы пе́сенники и плясуны́, потому́ что здесь сва́дьба. Спой же что-нибу́дь, ашы́к (певе́ц), и я отпущу́ тебя́ с по́лной го́рстью зо́лота“. Тогда́ Куршу́д-бек спроси́л его: „А как тебя́ зову́т, пу́тник?“ — „Шинди—гёрурсез (ско́ро узна́ете)“. — „Что это за и́мя?“ воскли́кнул тот со смёхом: „я в пе́рвый раз слы́шу“.— „Когда́ мать моя́ была́ мно́ю бере́менна и му́чилась ро́дами, то мно́гие сосе́ди приходи́ли к дверя́м спра́шивать: сы́на или дочь бог ей дал? Им отвеча́ли: шинди-гёрурсез (ско́ро узна́ете). И вот поэ́тому, когда́ я роди́лся, мне да́ли э́то и́мя“. По́сле э́того он взял саа́з и на́чал петь: „В го́роде Хала́фе я пил миси́рское вино́, но бог мне дал кры́лья, и я прилете́л сюда́ в три дня“.

Брат Куршу́д-бе́ка, челове́к малоу́мный, выхватил кинжа́л, воскли́кнув: „Ты лжёшь! Как мо́жно из Хала́фа прие́хать сюда́ в три дня́“. „За что же ты меня́ хо́чешь уби́ть?“ сказа́л Ашы́к. „Певцы́ обыкнове́нно со всех четырёх сторо́н собира́ются в одно́ ме́сто; и я с вас ничего́ не беру́, ве́рьте мне или не ве́рьте“. „Пуска́й продолжа́ет“, сказа́л жени́х, и Ашы́к-Кери́б запе́л сно́ва: „Утренний нама́з твори́л я в Арзинья́нской доли́не, полу́денный нама́з— в го́роде Арзеру́ме; пред захожде́нием со́лнца твори́л нама́з в го́роде Ка́рсе, и вече́рний нама́з—в Тифли́се. Алла́х дал мне кры́лья, и я прилете́л сюда́: дай бог, чтобы я стал же́ртвою бе́лого коня, он скака́л бы́стро, как плясу́н по кана́ту, с горы́ в уще́лье, из уще́лья на́ гору: Мевля́н (госпо́дь наш) дал Ашы́ку кры́лья, и он прилете́л на сва́дьбу Магу́ль-Мегери́“.

Тогда́ Магу́ль-Мегери́, узна́в его́ го́лос, бро́сила яд в одну́ сто́рону, а кинжа́л в другу́ю. „Так-то ты сдержа́ла свою́ кля́тву“, сказа́ла её подру́га: „ста́ло быть сего́дня но́чью ты бу́дешь жено́ю Куршу́д-бе́ка?“—„Вы не узна́ли, а я узна́ла ми́лый мне го́лос“, отвеча́ла Магу́ль-Мегери́ и, взяв но́жницы, она проре́зала чадру́. Когда́ же посмотре́ла и то́чно узна́ла своего́ Ашы́к-Кери́ба, то вскри́кнула и бро́силась к нему́ на ше́ю, и о́ба упа́ли без чувств. Бра́т Куршу́д-бе́ка бро́сился на них с кинжа́лом, намерева́ясь заколо́ть обо́их, но Куршу́д-бек останови́л его, промо́лвив: „Успоко́йся и зна́й, что напи́сано у челове́ка на лбу при его рожде́нии, того́ он не мину́ет“.

Придя́ в чу́вства, Магуль-Мегери́ покрасне́ла от стыда́, закры́ла лицо́ руко́ю и спря́талась за чадру́. „Тепе́рь то́чно ви́дно, что ты

Аши́к-Кери́б“, сказа́л жени́х: „но пове́дай, как же ты мог в тако́е коро́ткое вре́мя прое́хать тако́е вели́кое простра́нство?“ — „В доказа́тельство и́стины“, отвеча́л Аши́к: „са́бля мо́я переру́бит ка́мень; е́сли же лгу, то да бу́дет ше́я моя́ то́ньше во́лоса. Но лу́чше всего́ приведи́те ко мне слепу́ю, кото́рая бы семь лет уже́ не ви́дела све́та бо́жьего, и я возвращу́ ей зре́ние“. Сестра́ Аши́к-Кери́ба, сто́я в сеня́х у две́ри и услы́шав таку́ю речь, побежа́ла к ма́тери. „Ма́тушка!“ закрича́ла она́: „это точно брат, и то́чно твой сын, Аши́к-Кери́б!“ и, взяв стару́ху по́д-ру́ку, привела́ ее на пир сва́дебный.

Тогда́ Аши́к взял комо́к земли́ из-за па́зухи, развёл его водо́ю и нама́зал ма́тери глаза́, примо́лвя: „Зна́йте, все лю́ди, как могу́щ и вели́к Хадерима́з!“ — и мать его́ прозре́ла. По́сле того́ никто́ не смел сомнева́ться в и́стине слов его, и Куршу́д-бек уступи́л ему́ безмо́лвно прекра́сную Магу́ль-Мегери́. Тогда́, в ра́дости, Аши́к-Кери́б сказа́л ему́: „Послу́шай, Куршу́д-бек, я тебя́ уте́шу. Сестра́ моя́ не ху́же твое́й пре́жней неве́сты; я бога́т, у ней бу́дет не ме́ньше серебра́ и зо́лота; и так, возьми́ её за себя́, и бу́дьте так сча́стливы, как я с мое́й дорого́ю Магу́ль-Мегери́“.

М. Ле́рмонтов.

Стихотворе́ния.

---

1. Я пришёл к тебе́ с приве́том.

Я пришёл к тебе́ с приве́том—
Рассказа́ть, что со́лнце вста́ло,
Что́ оно́ горя́чим све́том
По листа́м затрепета́ло,
Рассказа́ть, что лес просну́лся,
Весь просну́лся, ве́ткой ка́ждой,
Ка́ждой пти́цей встрепену́лся,
И весе́нней по́лон жа́ждой...

А. А. Фе́т.

---

2. В е с н а́.

Уж та́ет снег, бегу́т ручьи́,
В окно́ пове́яло весно́ю...
Засви́щут ско́ро соловьи́,
И ле́с оде́нется листво́ю.
Чиста́ небе́сная лазу́рь.
Тепле́й и я́рче со́лнце ста́ло:
Пора́ мете́лей злы́х и бу́рь
Опя́ть надо́лго минова́ла.
И се́рдце си́льно та́к в груди́
Стучи́т, ка́к бу́дто ждёт чего́-то,
Ка́к бу́дто сча́стье впереди́,
И унесла́ зима́ забо́ты!
Все́ ли́ца ве́село глядя́т.
„Весна́!“ чита́ешь в ка́ждом взо́ре.
И тот, как пра́зднику, ей рад,
Чья́ жи́знь—ли́шь тя́жкий труд и го́ре.
Но ре́звых де́ток зво́нкий смех
И беззабо́тных пти́чек пе́нье
Мне́ говоря́т, кто́ бо́льше все́х
Приро́ды лю́бит обновле́нье.

А. Н. Плеще́ев.

---

3. Вéтер.

Вéтер перелётный обласкáл меня́
И шепну́л печáльно: „Нóчь сильнéе дня“.
И закáт помéркнул. Ту́чи почернéли.
Дрóгнули, смути́лись пáсмурные éли.
И над тёмным мóрем, где крути́лся вáл,
Вéтер перелётный зы́бью пробежáл.
Нóчь цари́ла в ми́ре. А меж тем далёко,
Зá мóрем, зажглóся óгненное óко.
Нóвый распусти́лся в небесáх цветóк.
Свéтом возрождённым заблистáл востóк.
Вéтер измени́лся и пахну́л мнé в óчи
И шепну́л с усмéшкой: „Дéнь сильнéе нóчи“.

К. Бáльмонт.

---

4. Сохá.

Ты сохá ль, нáша мáтушка,
Гóрькой бéдности помóщница,
Неизмéнная корми́лица,
Вековéчная рабóтница!
По твоéй ли, сохá, ми́лости
С хлéбом гу́мна пораздви́нуты.—
Сы́ты злы́е, сы́ты дóбрые,
По поля́м ковры́ раски́нуты!
Прó тебя́ и вспóмнить нéкому...
Чтó ж молчи́шь ты, безпривéтная?
Чтó не в слáву тебé тру́д идёт,
Нé в чéсть слу́жба безотвéтная?

Ах, крепкá, не знáет у́стали
Мужичкá рукá желéзная,
И покóит сóху-мáтушку
Однá нóченька беззвёздная!
На межé травá зелёная,
Полы́нь ди́кая качáется.
Не твоя́ ли дóля гóрькая
В её сóке отзывáется?
Уж и кéм же ты́ приду́мана,
К дéлу нáвеки пристáвлена,
Кóрмишь мáлого и стáрого,
Сиротóй самá остáвлена!

И. С. Ники́тин.

---

5. Цветы́.

С поле́й несётся го́лос ста́да;
В куста́х мали́новки звеня́т,
И с побеле́вших я́блонь са́да.
Струи́тся сла́дкий арома́т.
Цветы́ глядя́т с тоско́й влюблённой,
Безгре́шно—чи́сты, как весна́,
Роня́я с пы́лью благово́нной
Плодо́в румя́ных семена́.
Сестра́ цвето́в, подру́га ро́зы,
Оча́ми в о́чи мне взгляни́,
Наве́й живи́тельные грёзы,
И в се́рдце пе́сню зарони́!

А. А. Фет.

---

6. Дети́ в лесу́.

Ух, жа́рко!.. До по́лдня грибы́ собира́ли.
Во́т и́з ле́су вы́шли,—навстре́чу как ра́з
Сине́ющей ле́нтой, изви́листой, дли́нной,
Река́ лугова́я. Спрыгну́ли гурьбо́й,—
И ру́сых голо́вок над ре́чкой пусты́нной—
Что бе́лых грибо́в на поля́нке лесно́й!
Река́ огласи́лась и сме́хом и во́ем;
Тут дра́ка—не дра́ка, игра́—не игра́...
А со́лнце пали́т их полу́денным зно́ем.
Домо́й, ребяти́шки! обе́дать пора́!

Вернулись. У каждого полно лукошко.
А сколько рассказов! Попался косой,
Поймали ежа, заблудились немножко
И видели волка... У, страшный какой!
Ежу предлагают и мух, и козявок;
Корней молочко ему отдал своё.—
Не пьёт! Отступились...

Н. А. Некрасов.

---

7. Хлебная уборка.

Вот по распаханной чёрной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне...
Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян.
Дорого любо, кормилица—нива,
Видеть, как ты колосишься красиво,
Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!
Но веселей нет поры обмолота:
Лёгкая дружно спорится работа;
Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: „Поскорей! Поскорей!"
Звук благодатный! Кого он разбудит,
Верно, весь день тому весело будет!
Пар из отворёной риги валит,
Кто-то в огне там у печки сидит.
А на гумне только руки мелькают
Да высоко молотила взлетают—
Не успевает улечься их тень.
Солнце взошло—начинается день...

Н. А. Некрасов.

---

8. Что ты спишь, мужичок?

Что ты спишь, мужичок!
Ведь весна на дворе;
Ведь соседи твои
Работают давно.
Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Что ты был? и что стал?
И что есть у тебя?

На гумне—ни снопа,
В закромах—ни зерна;
На дворе, по траве—
Хоть шаром покати.
Из клетей домовой
Сор метлою посмёл,
И лошадок за долг
По соседям развёл.

И под лавкой сундук
Опрокинут лежит,
И погнувшись изба,
Как старушка, стоит.
Вспомни время своё,
Как катилось оно
По полям и лугам
Золотою рекой,
Со двора и гумна
По дорожке большой,
По селам, городам,
По торговым людям!
И как двери ему
Растворяли везде,
И в почётном углу
Было место твоё!
А теперь, под окном,
Ты с нуждою сидишь
И весь день на печи
Без просыпу лежишь;
А в полях, сиротой,
Хлеб нескошен стоит—
Ветер точит зерно,
Птица клюет его!
Что ты спишь, мужичок?
Ведь уж лето прошло,
Ведь уж осень на двор
Через прясло глядит!
Вслед за нею зима
В теплой шубе идёт,
Путь снежком порошит;
Под санями хрустит.
Все соседи на них
Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

А. В. Кольцов.

---

9. Лён.

Лён, наш кормилец, ленок,
Вся на тебя лишь надежда:
Подать ты нам и оброк,
Ты нам и хлеба кусок,
Ты и одежда!
Всем бы хорош ты, да вот—
Губишь землицу безмерно:
Слава такая идёт...
Выпустил славу народ,
Значит,—уж верно!
Грех есть ещё за тобой:
Вволю с тобою работы!
После страды полевой
Всем о тебе, мой родной,
Мало ль заботы!
Вытянул,—в сноп увяжи,
И выколачивай семя;
Тёплым деньком дорожи,
Да на мочила сложи,—
Всё надо время!
В воду холодную лезь!
Камни грузи пудовые,
По пояс вымокнешь весь...
Долго промаешься здесь!
Дни трудовые!
Вынул,—на стлище клади,—
Долго ленку ещё сохнуть:
Пусть полежит,—погоди,
Не перешёл бы,—гляди,
После б не охнуть!
Подняли,—мять уж пора:
Тянутся с скрипом телеги!..
Встанешь,—куда!—до утра,
Мнёшь,—ведь не мало добра,—
Тут не до неги!
Время трепать подошло,
Мятого кучу сложили!
Треплешь,—в рубахе тепло,—
На пол костры отошло...
Пыли-то, пыли!
Вышел и ростом ленок,
И волокном-то казистый.
В город везти тебя срок:
Стал ты ценою высок,
Мягкий и чистый.

Яхонтов.

10. После́дние цветы́.

Цве́ты после́дние миле́й
Роско́шных пе́рвенцев поле́й.
Они́ уны́лые мечта́нья
Живе́е пробужда́ют в на́с...
Так иногда́ разлу́ки час
Живе́е са́мого свида́нья.

А. С. Пу́шкин.

11. О с е н ь.

Октя́брь уж наступи́л; уж ро́ща отряха́ет
После́дние листы́ с наги́х свои́х ветве́й;
Дохну́л осе́нний хла́д; доро́га промерза́ет;
Журча́ ещё бежи́т за ме́льницей руче́й,
Но пру́д уже́ засты́л. Сосе́д мой поспеша́ет
В от‘е́зжие поля́ с охо́тою свое́й,
И стра́ждут о́зими от бе́шеной заба́вы,
И бу́дит лай соба́к усну́вшие дубравы́.

А. С. Пу́шкин.

12. Л е́ с.

Что́, дрему́чий лес,
Призаду́мался?
Гру́стью тёмною
Затума́нился?
Что́, Бова́-сила́ч
Заколдо́ванный,
С непокры́тою
Голово́й в бою́
Ты стои́шь, пони́к
И не ра́туешь
С мимолётною
Ту́чей-бу́рею?
Густоли́ственный
Твой зелёный шлем
Бу́йный вихрь сорва́л
И развея́л в пра́х:
Пла́щ упа́л к нога́м
И рассы́пался...

Ты стои́шь, пони́к
И не ра́туешь.
Где́ ж дева́лася
Ре́чь высо́кая,
Си́ла го́рдая,
До́блесть ца́рская?
У тебя́ ль было—
В но́чь безмо́лвную
Заливна́я песнь
Соловьи́ная...
У тебя́ ль бы́ло,—
В дни роско́шества,
Дру́г и не́друг твой
Прохлажда́ются...
У тебя́ ль бы́ло—
По́здно ве́чером
Гро́зно с бу́рею
Разго́вор пойдёт:

Распахнёт она́
Ту́чу чёрную,
Обоймёт тебя́
Ве́тром-хо́лодом,
Закружи́т она́,
Разыгра́ется...
Дро́гнет гру́дь твоя́,
Зашата́ется.
Встрепену́вшися,
Разбушу́ешься—
То́лько свист круго́м,
Голоса́ и гул.

Где́ ж тепе́рь твоя́
Мочь зелёная?
Почерне́л ты весь,
Затума́нился;
Одича́л, замо́лк—
То́лько в не́погодь
Во́ешь жа́лобу
На безвре́менье.
Не оси́лили
Тебя́ си́льные,
Так подре́зала
Осень чёрная.

А. В. Кольцо́в.

---

13. Наступле́ние зимы́.

Вот се́вер тучи нагоня́я,
Дохну́л, завы́л—и вот сама́
Идёт волшёбница-зима́.
Пришла́, рассы́палась; клока́ми
Пови́сла на сука́х дубо́в;
Легла́ волни́стыми ковра́ми
Среди́ полей, вокру́г холмо́в;
Брега́ с недви́жною реко́ю
Сравня́ла пу́хлой пелено́ю;
Блесну́л моро́з. И ра́ды мы
Прока́зам ма́тушки-зимы́.

А. С. Пу́шкин.

---

14. Зи́мняя доро́га.

Сквозь волни́стые тума́ны
Пробира́ется луна́;
На печа́льные поля́ны
Льёт печа́льно свет она́.
По доро́ге зи́мней, ску́чной
Тро́йка бо́рзая бежи́т.
Колоко́льчик однозву́чный
Утоми́тельно греми́т.

Что́-то слы́шится родно́е
В до́лгих пе́снях ямщика́:
То разгу́лье удало́е,
То серде́чная тоска́...
Ни огня́, ни чёрной ха́ты...
Глушь и снег... Навстре́чу мне
То́лько вёрсты полоса́ты
Попада́ются одни́.

А. С. Пу́шкин.

---

15. Ма́ленький мужичо́к.

Одна́жды, в студёную зи́мнюю по́ру,
Я и́з лесу вышел; был си́льный моро́з.
Гляжу́—поднима́ется ме́дленно в го́ру
Лоша́дка, везу́щая хво́росту воз;
И, ше́ствуя ва́жно, в споко́йствии чи́нном,
Лоша́дку ведёт под уздцы́ мужичо́к,
В больши́х сапога́х, в полушу́бке овчи́нном,
В больши́х рукави́цах... а сам - с ногото́к!
—Здоро́во, парни́ще!—„Ступа́й себе́ ми́мо!“
—Уж бо́льно ты гро́зен, как я погляжу́!
Отку́да дрови́шки?—„Из лесу, вести́мо;
Оте́ц, слы́шишь, ру́бит, а я отвожу́“!
(В лесу́ раздава́лся топо́р дровосе́ка).
—А что, у отца́-то больша́я семья́?
—„Семья́-то больша́я, да два челове́ка
Всего́ мужико́в-то: оте́ц мой да я...“
—Так вот оно́ что́! А как звать тебя́?—„Вла́сом“.
А кой тебе́ го́дик?—„Шесто́й минова́л“...
„Ну, мёртвая!“ кри́кнул малю́точка ба́сом,
Рвану́л под уздцы́ и быстре́й зашага́л.

Н. А. Некра́сов.

---

16. Товáрищу.

Чтó ты хóдишь с нуждóй
По чужи́м, по людя́м?
Вéруй си́лам души́
Да могýчим плечáм,
На рабóты ж свои́
Чуть заря́ подними́сь,
И оди́н во весь дéнь,
Чтó есть си́лы, труди́сь!

Неудáча, бедá,—
С грýстью дóма сиди́,
А с зарёю опя́ть
К нóвым нýждам иди́.
И тé ж люди,—враги́,
Что чуждáлись тебя́,
Бог уж вéдает как,
Назовýтся в друзья́.

А. В. Кольцóв.

---

17. Телéга жи́зни.

Хоть тяжелó подчáс в ней брéмя,
Телéга на ходý легкá;
Ямщи́к лихóй, седóе врéмя,
Везёт, не слéзет с облучкá.
С утрá сади́мся мы в телéгу;
Мы рáды гóлову сломáть,
И, презирáя лень и нéгу,
Кричи́м: пошóл!...
Но в пóлдень нéт уж той отвáги;
Порастряслó нас; нáм страшнéй
И косогóры и оврáги...
Кричи́м: полéгче, дуралéй!
Кати́т по-прéжнему телéга.
Под вéчер мы привы́кли к нéй,
И, дрéмля, éдем до ночлéга.
А врéмя гóнит лошадéй.

А. С. Пýшкин.

---

* * *

С поля́ны кóршун поднялся́,
Высóко к нéбу он взвился́;
Всё вы́ше, дáле вьётся он,
И вот ушёл за небосклóн.
Прирóда мать ему далá
Два мóщных, два живы́х крылá;
А я здесь в пóте и в пыли́,
Я, царь земли́, прирóс к земли́!

Ф. Тютчев.

19. Кора́ллы.

Широко́ раски́нулся ветвя́ми,
Чу́ждый не́ба, зву́ков и луче́й,
Це́лый мир кора́ллов под волна́ми
В глубине́ тропи́ческих море́й.
Миллио́нам тру́жеников ве́чных
Колыбе́ль, моги́ла и прию́т;
Ди́вный плод уси́лий бесконе́чных,
Этот мир поли́пы создаю́т.
Ка́ждый род, ступе́нь для жи́зни но́вой,
Бу́дет сме́рью в ка́мень превращён,
Что́бы лечь незы́блемой осно́вой
Поколе́ньям бу́дущих времён.
И встаёт из бе́здны океа́на,
И растёт кора́лловый узо́р;
Презира́я на́тиск урага́на,
Он стреми́тся к не́бу, на просто́р.
Он вознёсся кру́жевом пурпу́рным,
Исполи́нской ча́щею ве́твей,
В полусве́те мя́гком и лазу́рном
Преломлённых, тре́петных луче́й.
Час придёт, и го́рдо над волна́ми,
Раздроби́в их вла́жный изумру́д,
Но́вый о́стров, со́зданный века́ми,
С торжество́м кора́ллы вознесу́т.
О, пуска́й в глухо́й и тёмной до́ле,
Как поли́п, ничто́жен я и сла́б,
Я могу́ч свято́ю жа́ждой во́ли,
Утомлённый тру́женник и раб!
Та́м, за да́лью ви́жу я над ни́ми
Но́вый рай, луча́ми весь обли́т,
Но́вый о́стров, со́зданный века́ми,
Высоко́ над бе́здною цари́т.

Мережко́вский.

---

* * *

Я не бою́сь пыла́ющей зарни́цы,
Я не страшу́сь тиско́в слепо́й судьбы́...
Мое́й душе́, как во́здух во́льной пти́це,
Нужны́ огни́ и мо́лнии борьбы́!
В борьбе́ живу́, и кре́пну, и смеле́ю,
И сча́стье во́льное насто́йчиво кую́...
Не тле́ю, а горю́! Не га́сну—пламене́ю,
И пе́сни но́вые о ра́дости пою́!

А. Кра́йский.

---

21. Проща́ние.

По́мни, сла́вный путь терни́стый
И далёкий пред тобо́й,
Но следи́ за серебри́стой
Путево́дною звездо́й.
Не гаси́ в борьбе́ с судьбо́ю
Ду́ха сме́лого огни́...
Верь, за бу́рною грозо́ю
Бу́дут со́лнечные дни;
Если-ж ме́ньше ста́нет си́лы,
Ве́рен будь свое́й мечте́,
И верни́сь, верни́сь, мо́й ми́лый,
Со щито́м иль на щите́.
—Мно́го раз снега́ беле́ли
На равни́нах и в холма́х,
Мно́го бе́лых заблесте́ло
Ни́тей в чёрных волоса́х,
Но из жи́зненного го́рна
Вы́шел крёпким я, как ста́ль,
И стремлю́сь вперёд упо́рно
В перламу́тровую даль.
Не исся́кла молода́я
Ве́рность пла́менной мечте́...
Я верну́сь, верну́сь, родна́я,
Со щито́м иль на щите́.

И. Ио́нов.

---

22. Па́рус.

Беле́ет па́рус одино́кий
В тума́не мо́ря голубо́м...
Что́ и́щет он в стране́ далёкой?
Что́ ки́нул он в краю́ родно́м?
Игра́ют во́лны, ве́тер сви́щет,
И ма́чта гнётся и скрипи́т...
Увы́, он сча́стия не и́щет,
И не от сча́стия бе́жи́т!
Под ним струя́ светле́й лазу́ри;
Под ни́м луч со́лнца золото́й;
А о́н, мятёжный, про́сит бу́ри,
Как бу́дто в бу́рях есть поко́й.

М. Ю. Ле́рмонтов.

---

23. Узник.

Сижу́ за решёткой в темни́це сыро́й,
Вскормлённый на во́ле орёл молодо́й.
Мой гру́стный това́рищ, маха́я крыло́м,
Крова́вую пи́щу клюёт под окно́м.
Клюёт и броса́ет, и смо́трит в окно́,
Как бу́дто со мно́ю заду́мал одно́,
Зовёт меня́ взгля́дом и кри́ком свои́м,
И вы́молвить хо́чет: „дава́й, улети́м!"
Мы́ во́льные пти́цы; пора́, бра́т, пора́!
Туда́, где за ту́чей беле́ет гора́,
Туда́, где сине́ют морски́е края́,
Туда́, где гуля́ем... лишь ве́тер да я́!...

А. С. Пу́шкин.

24. Пловéц.

Нелюди́мо на́ше мо́ре,
День и ночь шуми́т оно́;
В роково́м его́ просто́ре
Мно́го бед погребено́.
Сме́ло, бра́тья! Ве́тром по́лный,
Па́рус мой напра́вил я́:
Полети́т на ско́льзки во́лны
Быстрокры́лая ладья́!

Облака́ бегу́т над мо́рем,
Кре́пнет ве́тер, зы́бь черне́й,
Бу́дет бу́ря: мы поспо́рим
И побо́ремся мы с не́й.
Сме́ло, бра́тья! Ту́ча гря́нет,
Закипи́т грома́да вод,
Вы́ше вал серди́тый вста́нет,
Глу́бже бе́здна упадёт!

Та́м, за да́лью непого́ды,
Есть блаже́нная страна́;
Не темне́ют не́ба сво́ды;
Не проходит тишина́.

Но туда́ выно́сят во́лны
То́лько си́льного душо́й!.
Сме́ло, бра́тья! Бу́рей по́лный,
Прям и кре́пок па́рус мой.

Н. М. Язы́ков.

25. Огоньки́.

Ка́к-то ра́з давно́, тёмным осе́нним ве́чером, случи́лось мне плы́ть по угрю́мой сиби́рской реке́.

Вдруг, на поворо́те реки́, впереди́, пе́ред тёмными гора́ми мелькну́л огонёк. Мелькну́л я́рко, си́льно, бли́зко...

— Ну, сла́ва бо́гу—сказа́л я с ра́достью,—дере́вня, бли́зко ночлёг.

Гребе́ц-сибиря́к поверну́лся, посмотре́л че́рез плечо́ на ого́нь и опя́ть апати́чно налёг на весло́.

— Далёче!

Я не пове́рил; огонёк так бли́зко стоя́л, выступа́я вперёд из неопределённой тьмы. Но гребе́ц был прав: оказало́сь, действи́тельно, далеко́.

Сво́йство́ э́тих ночны́х огне́й—приближа́ться, побежда́я тьму, и сверка́ть, и обеща́ть, и мани́ть свое́ю бли́зостью. Ка́жется, во́т-во́т ещё два́-три́ уда́ра весло́м,—и путь ко́нчен... А между́ тем — далеко́...

И до́лго ещё мы плы́ли по угрю́мой и мра́чной, как черни́ла, реке́.

Уще́лья и ска́лы выплыва́ли, надвига́лись и уплыва́ли, остава́ясь назади́ и теря́ясь, каза́лось, в бесконе́чной дали́, а огонёк всё стоя́л впереди́, перелива́ясь и маня́—всё та́к же бли́зко и всё та́к же далеко́.

Мне ча́сто вспомина́ется тепе́рь и э́та тёмная река́, затемнённая скали́стыми гора́ми, и э́тот живо́й огонёк. Мно́го огне́й и ра́ньше, и по́сле мани́ли не одного́ меня́ свое́ю бли́зостью. Но жизнь течёт всё в тех же угрю́мых берега́х, а огни́ ещё далеко́. И опя́ть прихо́дится налега́ть на вёсла...

Но всё-таки... всё-таки впереди́—огни́...

В. Г. Короле́нко.

26. Мы ещё повоюем!

Какáя ничтóжная мáлость мóжет иногдá перестрóить всегó человéка! Пóлный раздýмья, шёл я однáжды по большóй дорóге. Тя́жкие предчýвствия стесня́ли моіó грудь, унылость овладевáла мнóю. Я пóднял гóлову... Пéред мнóю, междý двух рядóв высóких тóполей, стрелóю уходи́ла вдаль дорóга. И чéрез неё, чрез э́ту сáмую дорóгу, в десяти́ шагáх от меня́, вся раззолочённая я́рким лéтним сóлнцем, пры́гала гуськóм цéлая семéйка воробьёв, пры́гала бóйко, забáвно, самонадéянно! Осóбенно оди́н из них так и надсáживал бочкóм, бочкóм, вы́пуча зоб и дéрзко чири́кая, слóвно и чорт емý не брат! Завоевáтель—и пóлно! А междý тем, высокó на нéбе кружи́л я́стреб, котóрому, быть-мóжет, сужденó сожрáть и́менно э́того сáмого завоевáтеля. Я поглядéл, рассмея́лся, встряхнýлся—и грýстные дýмы тóтчас отлетéли прочь: отвáгу, ýдаль, охóту к жи́зни почýвствовал я. И пускáй нáдо мнóй кружи́т мой я́стреб...—Мы ещё повоюем, чорт возьми́!

П. Тургéнев.

---

27. Гóрные верши́ны.

Гóрные верши́ны
Спят во тьмé ночнóй.
Ти́хие доли́ны
Пóлны свéжей мглóй;
Не пыли́т дорóга,
Не дрожáт листы́....
Подожди́ немнóго,
Отдохнёшь и ты.

М. Ю. Лéрмонтов.

---

28. Слáва вóльному трудý.

В зéмлю брóшено зернó...
Не поги́бнет ли онó?
Нет! Веснá-краснá придёт,
Озимь нóвая взойдёт,
На востóке вспы́хнул свéт...
Рáзве он погáснет?—Нéт!
Тýча чёрная пройдёт,
Сóлнце крáсное взойдёт.
Не поги́бнет, не умрёт...
Победи́т, переживёт
Жи́зни зрéющей страдý!
Слáва вóльному трудý!

А. Крáйский.

---

29. Привéт.

Привéт томý, кто с юных дней,
Покýда не измéнят сúлы,
Трудúтся чéстно до могúлы
Средú распáханных полéй
И, проливáя пот и кровь,
Хранúт и вéру и любóвь.
Привéт тóмý, кто никогдá
В часы́ тяжёлого недýга
Не брóсит стрáждущего дрýга,
А рýку пóмощи всегдá
Спешúт сочýвственно подáть,
Как сы́ну лю́бящая мáть.
Привéт томý, кто с рáнних лет,
Внимáя гóлосу призвáнья,
С душóй, любóвью, сострадáньем,
Из тьмы́ невéденья на свéт
Тяжёлой жизненной тропóй
Ведёт к добрý нас за собóй.
И э́тот труд всегдá живёт,
Не знáя грýстного забвéнья;
Из поколéнья в поколéнье
Егó хранúт в сердцáх нарóд
В минýты рáдости и бéд...
Трудý разýмному привéт!

Е. Нечáев.

---

30. Вóля и труд.

Чýдо я, Сáша, видáл:
Гóрсточку рýсских сослáли
В стрáшную глýшь за раскóл,
Вóлю да зéмлю им дáли.
Год незамéтно прошёл,—
Едут тудá комиссáры,
Глядь,—уж дерéвня стоúт,—
Ри́ги, сарáи, амбáры!
В кýзнице мóлот стучúт,
Мéльницы вы́строят скóро.
Уж запаслúсь мужикú
Зверем из тёмного бóра,
Ры́бой из вóльной рекú.

Вновь через год побывáли,—
Нóвое чýдо нашлú:
Жúтели хлеб собирáли
С прéжде бесплóдной землú.
Дóма однú лишь ребя́та
Да здоровéнные псы́,
Гýси кричáт, поросята
Ты́чут в коры́то носы́...
Тáк постепéнно в полвéка
Вы́рос огрóмный посáд:—
Вóля и трýд человéка
Дúвные-дúвы творя́т!

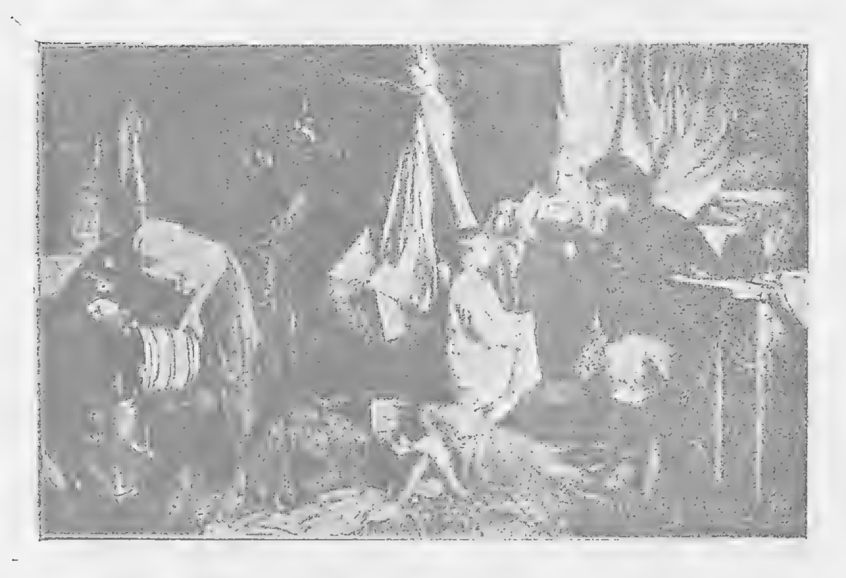
Н. А. Некрáсов.

---

31. Трудя́щемуся бра́ту.

К тебе́, трудя́щемуся бра́ту,
Я обраща́юся с мольбо́й:
Не покида́й на полдоро́ге
Рабо́ты, на́чатой тобо́й.
Не да́й в безде́йствии мертвя́щем
Душе́ забы́ться и засну́ть,—
Трудо́м тяжёлым и упо́рным
Ты пролага́й сво́й че́стный путь.
И чём бы в жи́зни ни грози́ла
Тебе́ судьба́,—ты твёрдо сто́й.
И бу́дь высо́кому призва́нью
До гро́ба ве́рен ты душо́й.
Пусть гро́м греми́т над голово́ю,
Но ту́чи чёрные пройду́т...
Всё одоле́ет си́ла ду́ха,
Всё победи́т упо́рный труд...

И. З. Су́риков.



32. На за́работках.

Из дере́вни да́льней
В го́род он попа́л,
На одно́й из фа́брик
Ме́сто отыска́л
Вот сиди́т за ста́ном,
Челноко́м стучи́т,
Но к рабо́те ску́чной
Се́рдце не лежи́т.
Ду́мает он ду́му
О свои́х родны́х:
Всё ль благополу́чно
Обстои́т у них?

Ка́к-то там дети́шки,
Живы ли они́,
Нет ли в чём забо́ты
По́ дому, жене́?
Нет ли недохва́тки,
Нет ли в чём нужды́?
До греха́ недо́лго,
До лихо́й беды́.
То́же за скоти́ной
На́добно ходи́ть,
Чтоб хвати́ло се́на
Зи́му прокорми́ть.
То, гляди́шь, забо́та,—
Ха́ту отопи́ть:
Из ле́су дрови́шек
В по́ру навози́ть.
Ста́роста с обро́ком,
Смо́тришь, пристаёт,
Не даёт поко́я,
От окна́ нейдёт...
На́до бы деньжо́нок
Ей тепе́рь посла́ть,
Да на гре́х полу́чки
До́лго ещё жда́ть.

Не хо́дить бы в го́род?
Да, ве́дь, как же бы́ть:
На́до спра́вить ну́жды,
По́дати добы́ть...
Чёрные всё ду́мы
В голове́ иду́т,
Да́вят грудь забо́той,
За́ се́рдце беру́т.
И детей-малю́ток
Кре́пко обоймёт.
Вспо́мнит, что дождётся
Тех счастли́вых дне́й,
И одно́й наде́ждой
Впереди́ живёт:
Вот на све́тлый пра́здник
Он домо́й пойдёт;
Принесёт пода́рков,
Де́нег принесёт.
И на се́рдце ста́нет
У него́ светле́й,
И забо́та бо́льше
Ду́шу не томи́т,
И в рука́х рабо́та
Жа́ркая кипи́т.

Вдови́н.

---

33. Утро.

Всю ночь душа́, как сме́лый со́кол,
Томи́лась жа́ждой го́рдых дел,
А у́тром си́ний су́мрак стёкол
И побеле́л и посветле́л.
Прини́к к окну́ и ви́жу вня́тно,
Скво́зь серебри́стый, лёгкий пар,
Заво́дов су́мрачные пя́тна
И в тёмной зе́лени бульва́р.
Но дро́гнул пар, и велича́вый
Зарде́лся со́лнечный восхо́д.

По со́нным у́лицам заста́вы
Шуми́т рабо́чий хорово́д.
Пора́ и мне за труд оби́чный
С толпо́ю сли́ться заодно́,
Руко́ю сме́лой и привы́чной
Разду́ть певу́чее горно́.
Мечты́—кипя́щая воро́нка;
Слова́—рыда́ющий кларне́т.
О, пе́сней ко́ваной и зво́нкой
Я встре́чу со́лнечный рассве́т.

Маши́ров-Самобы́тник.

---

34. Батра́к.

В коло́сьях желте́ющих ни́в утопа́я,
По у́зкой меже́, сквозь реде́ющий мра́к,
В убо́гой сермя́ге, кряхтя́ и вздыха́я,
Прохо́дит свобо́дный батра́к.
Назва́нье и де́ло ещё не быва́ли,
Каза́лось, от ве́ка в разла́де тако́м!
Ещё не свети́лось подо́бной печа́ли
Во взо́ре разу́мном людско́м!
Тот год был тяжёлый: по всхо́дам промча́лся
Серебряный бич многово́дных дожде́й,
И па́харь лишь пле́вел беспло́дный дожда́лся
С запла́канной ни́вы свое́й.
За по́дати вы́гнан, как зверь нелюди́мый,
Из ха́ты; он бра́та круго́м не нашёл;
Заве́тную горсть лишь земли́цы роди́мой
В плато́к завяза́л—и пошёл!
Свире́ль заигра́ла над си́ней реко́ю,
Румя́ное со́лнце встаёт из-за го́р...
Свобо́дный батра́к!
Что́ ж ты ста́л и поло́ю
Кафта́на ресни́цы отёр?
Свобо́дный... Уж в я́сли сего́дня скоти́не
Не ну́жно души́стого се́на броса́ть,
Из кра́я родно́го ты во́лен отны́не,
Куда́ загада́ешь, бежа́ть.
Свобо́дный... Малю́тку после́днего—сы́на,
В слеза́х ты весно́ю на кла́дбище снёс,
И с жа́лобным ви́згом оста́лся близ ты́на
Лежа́ть издыха́ющий пёс...
Свобо́дный... Ведь мо́жешь сиде́ть ты безду́мно,
Итти́, не жале́я пора́ненных ног,
Рыда́ть без конца́ иль смея́ться безу́мно,
Петь пе́сни... Суди́ тебя́ бо́г.
Замёрзнуть ты мо́жешь, поко́нчить с собо́ю,
О ка́мни доро́жные че́реп разби́ть...
Заря́ бу́дет сно́ва сменя́ться зарёю—
Зари́ для тебя́ уж не быть!
Наза́д огляну́лся ты с го́речью но́вой:
Опи́шут там ка́ждую тря́пку в избе́,
Убо́гое по́ле, лесо́к вереско́вый...
Коса́ лишь оста́лась тебе́!
Иди́ же коси́ть!—Хоть издо́хни без хле́ба,

Хоть си́лу и во́лю в коне́ц изведи́,
Но по́дать—свяще́нная за́поведь не́ба,
Её не нару́шь ты, иди́!

Чего́ ж о́н стои́т? он, свобо́дный, как пти́ца?
Живи́, коли́ хо́чешь, не хо́чешь—умри́!
В реке́ утопи́сь, иль иссо́хни, как спи́ца,
Трудя́сь от зари́ до зари́!

И го́рстью хоть во́лосы рви́, он не встре́тит
Ни в ком сострада́нья живо́го, бедня́к.
Хоть мёртвым пади́—и никто́ не заме́тит...
Свобо́дный он, во́льный батра́к.

М. Конопни́цкая.

---

35. Пе́сня о руба́шке.

Зате́кшие па́льцы боля́т,
И ве́ки боля́т на опу́хших глаза́х...
Швея́ в своём жа́лком отрёпье сиди́т
С шитьём и иго́лкой в рука́х...

Шьёт, шьёт, шьёт,
В грязи́, в нищете́, голодна́,
И жа́лобно го́рькую пе́сню поёт,
Поёт о руба́шке она́:

„Рабо́тай! рабо́тай! рабо́тай,
Едва́ петухи́ прокрича́т!
Рабо́тай! рабо́тай! рабо́тай,
Хоть звёзды сквозь кро́влю глядя́т!

„Рабо́тай! рабо́тай! рабо́тай,
Пока́ не сожмёт голо́вы, как в тиска́х!
Рабо́тай! рабо́тай! рабо́тай,
Пока́ не поме́ркнет в глаза́х!

„Стро́чку, ла́стовку, во́рот,—
Во́рот, ла́стовку, стро́чку...
Пова́лит ли сон над шитьём,—и во сне́
Строчи́шь всё да ру́бишь соро́чку.

„О, бра́тья люби́мых сестёр!
Опо́ра люби́мых супру́г, матере́й!
Не холст на руба́шках вы но́сите—нет,
А жизнь безотра́дную швей.

„Шéй! шéй! шéй!
В грязи́, в нищетé, голодна́,
Руба́шку и са́ван однóю иглóй
Я шью из тогó ж полотна́!

„Но чтó мне до смéрти? Её не боюсь,
И сéрдце не дрóгнет моё,
Хоть тóтчас костля́вая гóстья приди́:
Я ста́ла похóжа сама́ на неё...

„Похóжа от гóлода я́ на неё,
Здорóвье не я́вится вновь.
О, бóже! зачéм э́то дóрог так хлéб,
Так дёшевы тéло и крóвь?"

Тóмас Гуд.

36. Кузнецы́.

Мех гуди́т и ды́шит шу́мно;
Близ горна́—кроме́шний ад,
В пля́ске бе́шено-безу́мной
Миллио́ны искр летя́т.
Ска́чут о́гненные стре́лы,
Спе́ет вар,—и блеск и шум.
Пла́вны, бы́стры и уме́лы
Взма́хи мо́лота: дзинь—бум!
Вот кузне́ц. Он весь—забо́та,
Чёрен, стра́шен, бу́дто гном;
Щёки, мо́крые от по́та,
Кра́сным све́тятся огнём.
Ло́мит спи́нушку больну́ю,
Очи жжёт, мути́тся ум;
Но корми́лицу мирску́ю—
Со́ху он куёт: дзинь—бум!

Кре́пче, но́женьки, держи́те,
Не кати́сь, слеза́, из глаз.
Ду́хи мра́ка, кровь соси́те,
Но блесни́ и све́тлый час.
Чу! как бу́дто а́да зву́ки...
Гро́хот, пла́мя, лязг и шум...
А натру́женные ру́ки
Хо́дят ве́село: дзинь—бум!
Так и вы, друзья́ наро́да,
Кузнецы́ земли́ родно́й,
Сто́йте бо́дро в дни невзго́ды
У горна́ борьбы́ свято́й.
Пусть грохо́чет непого́да:
Мо́лот ва́ших мышц и дум
Сча́стье вы́кует наро́да,
Во́лю-до́лю... Дзинь-дзинь! бум!

П. Ф. Якубо́вич.

---

37. Ро́зы труда́.

Ещё борьбы́ не сти́хли гро́зы,
И ве́тер сна́сти жи́зни рвёт.
Но ра́дость а́лой, а́лой ро́зой
В серде́чной глубине́ цветёт.
Мы ро́зы о́гненные сре́жем
И, к тво́рчеству любо́вь тая́,
Их бро́сим, бро́сим на желе́зо
Пыла́ющего бытия́.
Взойду́т, взойду́т сквозь су́мрак да́льний
Взлеле́янные со́лнцем дни.
Животворя́щей накова́льней,
О, но́вый мир, звени́, звени́....
Неисчисли́мые поте́ри
Несу́т нам гро́зные года́,
Но мы безу́мно ве́рим, ве́рим
В побе́ду а́лых роз труда́.

А. Маши́ров-Самобы́тник.

---

38. За кни́гой.

Кудря́вый мальчуга́н в избу́шке, при огне́,
Над кни́гою оди́н, склони́вшись в тишине́,
Сиди́т за чте́нием—и жа́дно за строка́ми
В волне́нии следи́т блестя́щими глаза́ми.

А за окно́м гуди́т серди́тая мете́ль...
И полночь бли́зится, пора́ бы и в посте́ль!
Но ма́льчик сон забы́л: в восто́рге, удивлённый,
Как бу́дто за́мер он, весь в кни́гу углублённый.

О, ско́лько в кни́ге той чару́ющих карти́н
Рису́ет пе́ред ним худо́жник-властели́н!
И всё зама́нчивей явля́ются страни́цы,
И но́вых мы́слей в нём рожда́ют верени́цы...

Давно́ уж за́ полно́чь... Но взор горя́щий свой
Жаль оторва́ть ему́ от кни́ги дорого́й...
Уча́ его́ добру́, путь зна́ньем освеща́я,
Зовёт она́ вперёд, зовёт, не умолка́я...

Гаври́лов.

* * *

Ца́рство нау́ки не зна́ет преде́ла,
Всю́ду следы́ её ве́чных побе́д—
Ра́зума сло́во и де́ло,
Си́ла и свет.
Го́рдая Му́за, не бо́йся кова́рства!
Кри́кни толпе́: отзови́сь хоть оди́н!
Этого све́тлого ца́рства
Кто гражда́ни́н?
В тёмной толпе́ мы немно́го услы́шим
Бра́тски отзы́вных, живы́х голосо́в:
Мно́го-ли-ж де́л мы запи́шем,—
Мно́го ли слов?
Слов, разреша́ющих на́ше сомне́нье,
В чём на́ша си́ла, и где наш по́ко́й,
Ве́щих и по́лных значе́нья
Пра́вды свято́й.
Ми́ру, как но́вое со́лнце, сия́ет
Све́точ нау́ки, и то́лько при нём
Му́за чело́ украша́ет
Све́жим венко́м

Я. П. Поло́нский.

---

40. Две пе́сни.

Преле́стна песнь полу́денной страны́!
Она́ огнём живи́тельным согре́та,
Как я́ркий день безо́блачного ле́та.
Она́ сладка́, как то́мный свет луны́,
Трепе́щущий на зе́ркале лагу́ны.
Всё в не́й к любви́ и не́ге нас мани́т.
Но не звуча́т отзы́вно се́рдца стру́ны.
И мы́сль мо́я в груди́ безмо́лвной спит.
Друга́я пе́снь, то́ пе́снь родно́го кра́я,—
Протя́жная, уны́лая, проста́я,
Тоски́ и слёз и го́рестей полна́!
Как мно́го дум взбуди́ла вдру́г она́
Про на́шу степь, про гу́лкие мете́ли,
Про ра́дости и ско́рби ю́ных дне́й,
Про ти́хие напе́вы колыбе́ли,
Про о́тчий дом, и кро́вных, и друзе́й!

А. С. Хомяко́в.

---

41. Ня́нины ска́зки.

У луко́морья дуб зелёный;
Злата́я цепь на ду́бе том;
И днём и но́чью кот учёный
Всё хо́дит по́ це́пи круго́м;
Идёт напра́во,—песнь заво́дит,
Нале́во,—ска́зку говори́т.
Там чудеса́: там ле́ший бро́дит,
Руса́лка на ветвя́х сиди́т;
Там на неве́домых доро́жках,
Следы́ неви́данных звере́й;
Избу́шка там на ку́рьих но́жках
Стои́т без о́кон, без двере́й;
Там лес и дол виде́ний по́лны;
Там о заре́ прихлы́нут во́лны
На брег песча́ный и пусто́й;
И три́дцать ви́тязей прекра́сных
Чредо́й из вод выхо́дят я́сных,
И с ни́ми дя́дька их морско́й;
Там короле́вич мимохо́дом
Пленя́ет гро́зного царя́;
Там в облака́х пе́ред наро́дом
Че́рез леса́, че́рез моря́
Колду́н несёт богатыря́;
В темни́це там царе́вна ту́жит,
А бу́рый волк ей ве́рно слу́жит;
Там сту́па с Ба́бою-Яго́й
Идёт-бредёт сама́ собо́й;
Там царь Коще́й над зла́том ча́хнет!
И я́ там бы́л, и мёд я пи́л,
У мо́ря ви́дел дуб зелёный,
Под ним сиде́л, и ко́т учёный
Свои́ мне ска́зки говори́л.

А. С. Пу́шкин.

42. А н ч а́ р.

В пусты́не ча́хлой и скупо́й,
На по́чве, зно́ем раскалённой,
Анча́р, как гро́зный часово́й,
Стои́т оди́н во всёй вселённой.
Приро́да жа́ждущих степе́й
Его́ в день гне́ва породи́ла,—
И зе́лень мёртвую ветве́й,
И ко́рни я́дом напои́ла.
Яд ка́плет сквозь его́ кору́,
К полу́дню растопя́сь от зно́я,
И застыва́ет ввечеру́
Густо́й, прозра́чною смоло́ю.
К нему́ и пти́ца не лети́т,
И тигр нейдёт; лишь ви́хорь чёрный
На дре́во сме́рти набежи́т
И мчи́тся прочь, уже́ тлетво́рный.
И е́сли ту́ча оросит,
Блужда́я, лист его́ дрему́чий,
С его́ ветве́й уж ядови́т
Стека́ет дождь в песо́к горю́чий.
Но челове́ка челове́к
Посла́л к анча́ру вла́стным взгля́дом,—
И то́т послу́шно в путь потёк,
И к у́тру возврати́лся с я́дом.
Принёс он сме́ртную смолу́
Да ве́твь с увя́дшими листа́ми,—
И по́т по бле́дному че́лу
Струи́лся хла́дными ручья́ми.
Принёс,—и ослабе́л, и лёг
Под сво́дом шалаша́ на лы́ки,
И у́мер бе́дный ра́б у но́г
Непобеди́мого влады́ки.
А царь тем я́дом напита́л
Свои́ послу́шливые стре́лы,
И с ни́ми ги́бель разосла́л
К сосе́дям, в чу́ждые преде́лы.

А. С. Пу́шкин.

---

43. Три па́льмы.

В песча́ных степя́х Арави́йской земли́
Три го́рдые па́льмы высо́ко росли́.
Родни́к между́ ни́ми из по́чвы беспло́дной
Журча́ пробива́лся волно́ю холо́дной,
Храни́мый, под се́нью зелёных листо́в,
От зно́йных луче́й и лету́чих песко́в.
И мно́гие го́ды неслы́шно прошли́;
Но стра́нник уста́лый, из чу́ждой земли́,
Пыла́ющей гру́дью ко вла́ге студёной
Ещё не склоня́лся под ку́щей зелёной;
И ста́ли уж со́хнуть от зно́йных луче́й
Роско́шные ли́стья и зву́чный руче́й.
И ста́ли три па́льмы на бо́га ропта́ть:
„На то́ ль мы роди́лись, чтоб зде́сь увяда́ть?
Без по́льзы в пусты́не росли́ и цвели́ мы,
Колеблемы ви́хрем и зно́ем пали́мы,
Ниче́й благоскло́нный не ра́дуя взор!...
Не пра́в твой, о не́бо, свято́й пригово́р“!...

И то́лько замо́лкли,—в дали́ голубо́й
Столбо́м уж крути́лся песо́к золото́й;
Звонко́в раздава́лись нестро́йные зву́ки;
Пестре́ли ковра́ми покры́тые вью́ки;
И шёл, колыха́ясь, как в мо́ре челно́к,
Верблю́д за верблю́дом, взрыва́я песо́к.
Вот к па́льмам подхо́дит, шумя́, карава́н;
В тени́ их весёлый раски́нулся ста́н.
Кувши́ны, звуча́, нали́ли́ся водо́ю;
И, го́рдо кива́я махро́вой главо́ю,
Приве́тствуют па́льмы нежда́нных госте́й;
И ще́дро пои́т их студёный руче́й.
Но то́лько что су́мрак на зе́млю упа́л,
По ко́рням упру́гим топо́р застуча́л,—
И па́ли без жи́зни пито́мцы столе́тий!
Оде́жду их со́рвали ма́лые де́ти,
Изру́блены бы́ли тела́ их пото́м,
И ме́дленно жгли́ их до у́тра огнём.
Когда́ же на за́пад умча́лся тума́н,
Уро́чный сво́й путь соверша́л карава́н.
И сле́дом печа́льным на по́чве беспло́дной
Видне́лся ли́шь пе́пел седо́й и холо́дный.
И со́лнце оста́тки сухи́е дожгло́,
А ве́тром в степи́ их пото́м разнесло́.
И ны́не всё ди́ко и пу́сто круго́м;
Не ше́пчутся ли́стья с грему́чим ключо́м:
Напра́сно проро́ка о тени́ он про́сит,—
Его́ лишь песо́к раскалённый зано́сит,
Да ко́ршун хохла́тый, степно́й нелюди́м,
Добы́чу терза́ет и щи́плет над ни́м.

М. Ю. Ле́рмонтов.

---

44. Орёл и змея́.

На гора́х, по́д мете́лями,
Где лишь е́ли одни́ ве́чно зе́лены,
Се́л оре́л на скалу́, в те́нь под е́лями,
И гляди́т: из рассе́лины
Выполза́ет змея́, извива́ется;
И на тёмном грани́те змеи́ная
Чешуя́ серебро́м отлива́ется...
У орла́ го́рдый взгля́д загора́ется:
Заигра́ло, зна́ть, се́рдце орли́ное.

„Высоко́ ты, змея́, забира́ешься!
Мо́лвил он:—бу́дешь пла́кать, раска́ешься!“
Но змея́ ему́ кро́тко отве́тила:
„Из-под ка́мня горю́чего
Я давно́ тебя́ в не́бе заме́тила
И тебя́ полюби́ла, могу́чего...
Не пуга́й меня́ злы́ми угро́зами.
Нет! Бери́ меня́ в ко́гти желе́зные,
Познако́мь меня́ с тё́мными гро́зами,
Иль умчи́ меня́ в сфе́ры надзвё́здные“.
Засвети́лися гла́зки змеи́ные
Ти́хим пла́менем, по-змеи́ному;
Распахну́лися кры́лья орли́ные:
Он прижа́л её́ к се́рдцу орли́ному,
Полете́л с ней в простра́нство холо́дное...
Ту́ча гро́зная с ним повстреча́лася:
Изгиба́ясь, змея́ подколо́дная
Под крыло́ его́ ро́бко прижа́лася.
С бу́рей бо́рются кры́лья орли́ные:
Бли́зко мо́лния где́-то уда́рила...
Он сквозь со́н слы́шит ре́чи змеи́ные...
Вдруг—змея́ его́ в се́рдце ужа́лила.
И в оча́х у орла́ помути́лося;
Он от бо́ли упа́л, как подстре́ленный;
А змея́ уползла́ и сокры́лася
В глубине́, под грани́тной рассе́линой.

Я. П. Поло́нский.

---

45. Курга́н.

В степи́, на равни́не откры́той,
Курга́н одино́кий стои́т;
Под ни́м богаты́рь знамени́тый
В мину́вшие ве́ки зары́т.
В честь ви́тязя три́зну свер-
шали,
Дружи́на драла́ся три дня́,
Жрецы́ ему ра́зом закла́ли
Всех жё́н и люби́мца-коня́.
Когда́ же его́ схорони́ли
И шум на моги́ле зати́х,
Певцы́ ему сла́ву сули́ли,
На гу́слях гремя́ золоты́х:

„О, ви́тязь, дела́ми твои́ми
„Горди́тся вели́кий наро́д!
„Твоё́ громоно́сное и́мя
„Столе́тия всё́ перейдё́т!
„И е́сли курга́н твой высо́кий
„Сравня́лся бы с по́лем пусты́м,
„То́ сла́ва, разли́вшись далё́ко,
„Была́ бы курга́ном твои́м!“
И во́т, минова́лися го́ды,
Столе́тия вслед протекли́,
Наро́ды смени́ли наро́ды,
Лицо́ измени́лось земли́.
Курга́н же с высо́кой главо́ю,

Где ви́тязь могу́чий зары́т,
Ещё не сравня́лся с землёю,
Попре́жнему го́рдо стоит;
А ви́тязя сла́вное и́мя
До на́ших времён не дошло́.
Кто́ был он? Венца́ми каки́ми
Своё он укра́сил чело́?
Чью́ кровь пролива́л он реко́ю?
Каки́е он жёг города́?
И сме́ртью поги́б он како́ю?
И в зе́млю опу́щен когда́?
Безмо́лвен курга́н одино́кий,
Нае́здник держа́вный забы́т,
И три́зны в пусты́не широ́кой
Никто́ уж ему́ не сверши́т.
Лишь ми́мо курга́на мелька́ет
Сайга́к, че́рез по́ле скача́,
Иль вдру́г на него́ налетае́т,
Крыла́ми треща́, саранча́.
Поро́й журавли́ная ста́я,
Око́нчив подо́блачный путь,
К курга́ну шуми́т, подлета́я,
Сади́тся на нём отдохнуть.
А слёзы прольют ра́зве ту́чи,
Над сте́пью плывя́ в небеса́х,
Да ве́тер лишь свее́т лету́чий
С курга́на забы́того прах.

А. К. Толсто́й.

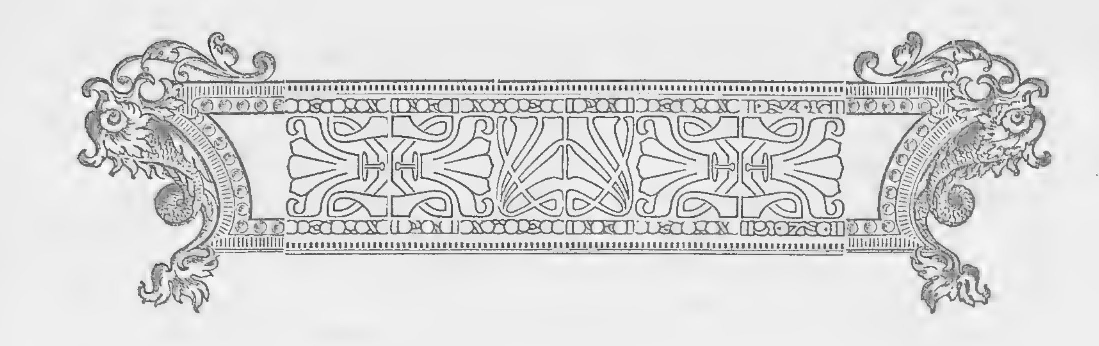
---

46. Емша́н.

Степно́й травы́ пучо́к сухо́й,
Он и сухо́й благоуха́ет
И ра́зом сте́пи пре́до мно́й
Всё обая́нье воскреша́ет.
Когда́ в степя́х, за ста́ном ста́н,
Броди́ли о́рды кочевы́е,
Бы́л ха́н Отро́к и хан Сырча́н,
Два бра́та, ба́тыри лихи́е.
И ра́з у ни́х шёл пи́р горо́й:
Вели́к поло́н был взя́т из Ру́си.
Певе́ц им сла́ву пел; реко́й
Лился́ кумы́с в родно́м улу́се.
Вдруг—шум и крик, и стук мечей,
И кро́вь, и сме́рть, и нет поща́ды;
Всё вро́зь бежи́т, что лебеде́й
Ловца́ми спу́гнутое ста́до.
То с ру́сской си́лой Монома́х
Всесокруша́ющий яви́лся:
Сырча́н в донски́х залёг меля́х,
Отро́к в гора́х кавка́зских скры́лся.
И шли́ года́.... Гуля́л в степя́х
Лишь бу́йный ве́тер на просто́ре;
Но во́т сконча́лся Монома́х,
И на Руси́ туга́ и горе́.
Зовёт к себе́ певца́ Сырча́н
И к бра́ту шлёт его с нака́зом:
„Он та́м бога́т, он ца́рь тех стра́н,
Влады́ка на́до всем Кавка́зом.
Скажи́ ему́, чтоб бро́сил всё,
Что у́мер враг, что спа́ли це́пи,
Чтоб шёл в насле́дие своё,
Благоуха́ющие сте́пи.
Ему́ ты пе́сен на́ших спой,
Когда́ ж на пе́снь не отзовётся,
Свяжи́ в пучёк емша́н степно́й
И да́й ему́, и—о́н вернётся.“
Отро́к сиди́т в злато́м шатре́.
Вкруг ро́й абха́зянок прекра́сных;
На зо́лоте и серебре́
Князе́й он че́ствует подвла́стных.
Введён певе́ц, он говори́т,
Чтоб в сте́пи шёл Отро́к без стра́ха,
Что́ пу́ть на Ру́сь круго́м откры́т,
Что не́т уж бо́льше Монома́ха.

Отро́к молчи́т, на бра́тний зов
Одно́й усме́шкой отвеча́ет.
И пи́р идёт, и хо́р рабо́в
Его́, как со́лнце, велича́ет.
Встаёт певе́ц и пе́сню он
Поёт о бы́лях полове́цких,
Про сла́ву де́довских времён
И их набе́гов молоде́цких.
Отро́к угрю́мый при́нял вид
И, на певца́ не гля́дя, зна́ком,
Чтоб увели́ его́, вели́т
Свои́м послу́шливым куна́кам.
И взя́л пучёк травы́ степно́й
Тогда́ певе́ц и по́дал ха́ну,
И смо́трит хан и—сам не сво́й:
Как бы́ почу́я в се́рдце ра́ну,
За гру́дь схвати́лся... Все глядя́т:
Он гро́зный ха́н, — что́ э́то значит?
Он, пред кото́рым все́ дрожа́т,
Пучёк травы́ целу́я, пла́чет!
И вдру́г, взмахну́вши кулако́м,—
„Не ца́рь я бо́льше вам отны́не!
Воскли́кнул,—сме́рть в краю́ родно́м
Миле́й, чем сла́ва на чужби́не.“
На у́тро, чу́ть осе́л тума́н,
И озлати́лись гор верши́ны,
В гора́х идёт уж карава́н—
Отро́к с немно́гою дружи́ной.
Мину́я го́ру за горо́й,
Всё ждёт он, ско́ро ль степь родна́я,
И вда́ль гляди́т, травы́ степно́й
Пучёк из ру́к не выпуска́я.

А. Н. Ма́йков.



Ба́сни.

---

1. Любопы́тный.

„Прия́тель дорого́й, здоро́во! где́ ты бы́л?"
—„В кунстка́мере, мо́й дру́г! Часа́ там три́ ходи́л.
Всё ви́дел, вы́смотрел; от удивле́нья,
Пове́ришь ли, не ста́нет ни уме́нья
Пересказа́ть тебе́, ни си́л.
Уж по́длинно, что та́м чуде́с пала́та!
Куда́ на вы́думки приро́да торова́та!
Каки́х звере́й, каки́х та́м пти́ц я не вида́л!
Каки́е ба́бочки, бука́шки,
Козя́вки, му́шки,턉тарака́шки!
Одни́ как изумру́д, други́е, как кора́лл.
Каки́е кро́хотны коро́вки!
Есть, пра́во, ме́нее була́вочной голо́вки!"
—„А ви́дел ли слона́? Како́в собо́й на взгля́д?
Я ча́й, поду́мал ты́, что го́ру встре́тил?"
—„Да ра́зве та́м он?"—„Та́м".—„Ну́, бра́тец, винова́т:
Слона́-то я́ и не приме́тил".

И. А. Крыло́в.

---

2. Крестья́нин и рабо́тник.

Стари́к крестья́нин с батрако́м
Шёл по́д ве́чер леско́м
Домо́й, в дере́вню, с сеноко́су;
И повстреча́ли вдруг медве́дя но́сом к но́су.

Крестья́нин а́хнуть не успе́л,
Как на него́ медве́дь насе́л.
Подмя́л крестья́нина, ворчает, лома́ет
И, где́ б его поча́ть, лишь ме́сто выбира́ет.
Коне́ц прихо́дит старику́.
— „Степа́нушка, родно́й, не вы́дай, ми́лый!“
Из-под медве́дя о́н взмоли́лся батраку́.
Во́т но́вый Геркуле́с, со все́й собра́вшись си́лой,
Что́ было то́лько в нё́м,
Отнё́с пол-че́репа медве́дю топоро́м
И брю́хо проколо́л ему́ желё́зной ви́лой.
Медве́дь взреве́л и за́мертво упа́л:
Медве́дь мой издыха́ет.
Прошла́ беда́; крестья́нин вста́л,—
И о́н же батрака́ руга́ет.
Опе́шил бе́дный мой Степа́н.
— „Поми́луй“, говори́т: „за что́?“—„За что́? Болва́н!
Чему́ обра́довался сду́ру?
Зна́й ко́лет: всю́ испо́ртил шку́ру!“

И. А. Крыло́в.

---

3. Скворе́ц.

Како́й-то смо́лоду Скворе́ц
Та́к пе́ть щеглё́нком научи́лся,
Как будто бы щеглё́нком са́м роди́лся.
Игри́вым голоско́м весь лес он весели́л,
И вся́кий Скво́рушку хвали́л.
Ино́й бы был тако́й дово́лен че́стью,
Но Скво́рушка услы́шь, что хва́лят соловья́,
(А Скво́рушка зави́стлив был, к несча́стью),
И ду́мает:—„Посто́йте же, друзья́,
Спою́ не ху́же я
И соловьи́ным ла́дом“.
И, по́длинно, запе́л,—
Да то́лько лишь совсе́м осо́бым скла́дом.
То́ он пища́л, то́ он хрипе́л,
То́ верещал козлё́нком.
То́ не путё́м
Мяу́кал он котё́нком;
И, сло́вом, разогна́л всех птиц свои́м он пенье́м.
Мой ми́лый Скво́рушка! Ну́, что́ за при́быль в то́м?
По́й лу́чше хорошо́ щеглё́нком,
Чем ду́рно соловьё́м.

И. А. Крыло́в.

---

4. Ягнёнок.

Ягнёнок сдýру,
Надéвши вóлчью шкýру,
Пошёл по стáду в ней гулять:
Ягнёнок лишь хотéл пощеголять;
Но псы, увидевши повéсу,
Подýмали, что вóлк пришёл из лéсу,
Вскочили, кинулись к немý, свалили с ног,
И прéжде, нéжели опóмниться он мóг,
Чуть по клочкáм егó не расхватили.
По счáстью, пастухи, узнáв егó, отбили;
Но побывáть у псóв не шýтка на зубáх.
Бедняжка от такóй тревóги
Насилу доволóк в овчáрню нóги;
А там он стал хирéть, потóм совсéм зачáх,
И простонáл весь век свой безумóлка.
А éсли бы Ягнёнок был умён—
И мысли бы боялся он
Похóжим быть на вóлка.

И. А. Крылóв.

---

5. Раздéл.

Имéя óбщий дом и óбщую контóру,
Какие-то честные торгаши
Наторговáли дéнег гóру,
Окóнчили торги и дéлят бáрыши.
Но в дележé когдá без спóру?
Завóдят шум они за дéньги, за товáр,—
Как вдрýг кричáт, что в дóме их пожáр.
„Скорéй, скорéй спасáйте
Товáры вы и дóм!“
Кричит один из них: „ступáйте,
А счёты пóсле мы сведём!“
„Мне тóлько тысячу мою додáйте!“
Шумит другóй;
„Я с мéста не сойдý долóй!“
— „Мнé двé не дóданы, а вóт тут счёты ясны!“
Ещё один кричит:—„Нет, нéт, мы не соглáсны!
Да кáк, за чтó и почемý?“
Забывши, что пожáр в домý,
Прокáзники тут до тогó шумéли,
Что захватило их в дымý,
И всé они со всем добрóм своим сгорéли.

И. А. Крылóв.

---

6. Ло́шадь и Осёл.

Случи́лось Ло́шади в доро́ге бы́ть с Осло́м,
И Ло́шадь шла́ порожняко́м,
А на Осле́ покла́жи сто́лько бы́ло,
Что бе́дного совсе́м под не́ю задави́ло.
„Нет мо́чи,—говори́т,—я, пра́во, упаду́,
До ме́ста не дойду́“.
И про́сит Ло́шадь он, что́б сде́лать одолже́нье,—
Хоть ча́сть покла́жи сня́ть с него́.
—„Тебе́ не сто́ит ничего́,
А мне́ б ты сде́лала бо́льшое облегче́нье“,—
Он Ло́шади сказа́л.
—„Во́т, что́б я с но́шею осли́ною таска́лась!“
Сказа́ла Ло́шадь и помча́лась.
Осёл потýда шёл, пока́ под но́шей па́л.
И Ло́шадь тут узна́ла,
Что но́шу раздели́ть напра́сно отказа́ла,
Ко́гда её нести́ одна́
С осли́ной ко́жею была́ принуждена́.

И. И. Хемни́цер.

---

7. Волк и Куку́шка.

—„Проща́й, сосе́дка!—Волк Куку́шке говори́л:—
Напра́сно я себя́ поко́ем здесь мани́л!
Всё те́ ж у вас и лю́ди, и соба́ки:
Один друго́го зле́й; и хо́ть ты а́нгел будь,
Так не мину́ешь с ни́ми дра́ки.“
—„А далеко́ ль сосе́ду путь?
И где́ тако́й наро́д благочести́вый,
С кото́рым ду́маешь ты жи́ть в ладу́?“
—„О! я́ прямёхонько иду́
В леса́ Арка́дии счастли́вой.
Сосе́дка, то́-то сторона́!
Та́м, говоря́т, не зна́ют, что́ война́!
Ну́, сло́вом, ца́рствуют златы́е времена́!
Как бра́тья, все́ друг с дру́гом поступа́ют,
И да́же, говоря́т, соба́ки там не ла́ют,
Не то́лько не куса́ют.
Уж то́-то та́м мы заживём!
Не та́к, как зде́сь: ходи́ с огля́дкой днём,
И не засни́ споко́йно на ночле́ге.“

—„Счастли́вый путь, сосе́д мой дорого́й!
Куку́шка говори́т:—а свой ты нра́в и зу́бы
Зде́сь ки́нешь и́ль возьмёшь с собо́й?“
—„Уж ки́нуть! Вздо́р како́й!“
—„Так вспо́мни же меня́, что бы́ть тебе́ без шу́бы“.

И. А. Крыло́в.

---

8. Крестья́нин и Топо́р.

Мужи́к, избу́ рубя́, на свой Топо́р озли́лся;
Пошёл Топо́р в худы́х; Мужи́к взбеси́лся;
Он са́м нару́бит вздо́р,
А винова́т во всём Топо́р;
Брани́ть его́, хоть ка́к, Мужи́к найдёт причи́ну.
„Него́дный!“ он кричи́т одна́жды: „с э́тих пор
Ты бу́дешь у меня́ обтёсывать тычи́ну,
А я́, с мои́м уме́ньем и трудо́м,
Прито́м с досу́жестью мое́ю,
Зна́й, без тебя́ проба́виться уме́ю,
И сде́лаю просты́м ножо́м,
Чего́ друго́й не сру́бит Топоро́м.“
— „Руби́ть, что мне вели́шь, моя́ така́я до́ля“!
Смире́нно отвеча́л Топо́р на о́крик злой:
„Ита́к, хозя́ин мой,
Твоя́ свята́я во́ля:
Гото́в тебе́ я вся́чески служи́ть,
Да то́лько ты смотри́, чтоб по́сле не тужи́ть:
Меня́ ты по́пусту исту́пишь,
А всё ножо́м избы́ не сру́бишь.“

И. А. Крыло́в.

---

9. Два́ мужика́.

„Здоро́во, кум Ѳадде́й!“—„Здоро́во, кум Его́р!„
— „Ну́, каково́, прия́тель, пожива́ешь?“
— „Ох, кум, беды́ мое́й, что ви́жу, ты не зна́ешь!
Бог посети́л меня́: я сжёг до тла́ свой двор
И по́ миру пошёл с те́х пор.“
— „Ка́к так? Плоха́я, кум, игру́шка!“
— „Да та́к! О Рождестве́ была́ у нас пиру́шка;
Я со свечо́й пошёл дать ко́рму лошадя́м:
Призна́ться, в голове́ шуме́ло;

Я ка́к-то зарони́л; наси́лу спа́сся сам;
А дво́р и всё добро́ сгоре́ло.
Ну́, ты́ как?“—„Ох, Өадде́й, худо́е де́ло!
И на меня́ прогне́вался, знать, Бог.
Ты ви́дишь—я́ без но́г:
Ка́к са́м оста́лся жи́в, счита́ю, пра́во, ди́вом.
Я, то́ж о Рождестве́, пошёл в ледни́к за пи́вом,
И то́же черезчу́р, призна́ться, я хлебну́л
С друзья́ми полуга́ру;
А что́б в хмелю́ не сде́лать мне пожа́ру,
Так я́ свечу́ совсе́м заду́л;
Ан бе́с меня́ впотьма́х та́к с ле́стницы толкну́л,
Что сде́лал из меня́ совсе́м не челове́ка;
И во́т я с то́й поры́ кале́ка.“
— „Пеня́йте на себя́, друзья́!“
Сказа́л им сват Степа́н: „коль мо́лвить пра́вду,
Я совсе́м не чту́ за чу́до,
Что ты́ сожёг свой дво́р, а ты на костыля́х:
Для пья́ного и со свечо́ю ху́до,
Да вря́д не ху́же-ль и впотьма́х.“

И. А. Крыло́в.

---

10. Соба́ка и Ло́шадь.

У одного́ крестья́нина служа́,
Соба́ка с Ло́шадью счи́таться ка́к-то ста́ли.
—„Во́т,—говори́т Барбо́с,—больша́я госпожа́!
По мне́, хоть бы́ тебя́ совсе́м с двора́ согна́ли.
Вели́ка вещь—вози́ть или́ паха́ть!
Об удальстве́ твоём друго́го не слыха́ть;
И мо́жно ли тебе́ равня́ться в чём со мно́ю?
Ни днём, ни но́чью я́ не ве́даю поко́ю:
Днём ста́до под мои́м надзо́ром на лугу́,
А но́чью дом я стерегу́“.
— „Коне́чно,—Ло́шадь отвеча́ла,—
Твоя́ правди́ва речь;
Одна́коже, ко́гда б я не́ паха́ла,
То не́чего б те́бе здесь бы́ло и стере́чь.“

И. А. Крыло́в.

---

11. Квартéт.

Прокáзница́-мартышка,
Осёл, козёл
Да косолáпый Ми́шка
Затéяли сыгрáть квартéт.

Достáли нот, басá, альтá, две скри́пки
И сéли на лужóк, под ли́пки,
Пленя́ть свои́м искýсством свет.
Удáрили в смычки́, дерýт, а тóлку нет.

—„Стой, брáтцы, стой!“ кричи́т марты́шка; „погоди́те!
Как мýзыке итти́? ведь вы не тáк сиди́те.
Ты с бáсом, Ми́шенька, сади́сь проти́в альтá;
Я, при́ма, ся́ду прóтив втóры,

Тогдá пойдёт уж мýзыка не та:
У нас запля́шут лес и гóры!“
Рассéлись, нáчали квартéт;
Он всё-таки на лад нейдёт.

—„Постóйте жь, я сыскáл секрéт,“
Кричи́т осёл: „мы, вéрно, уж полáдим,
Коль ря́дом ся́дем“.

Послýшались ослá: усéлись чи́нно в ряд,
А всё-таки квартéт нейдёт на лад.
Вот, пýще прéжняго, пошли́ у них разбóры
И спóры,

Комý и как сидéть.
Случи́лось соловью́ на шýм их прилетéть.
Тут с прóсьбой все к немý, чтоб их реши́л сомнéнье:

— „Пожáлуй“, говоря́т: „возьми́ на час терпéнья,
Чтобы́ квартéт в поря́док наш привéсть:
И нóты есть у нас, и инструмéнты есть,
Скажи́ лишь, как нáм сéсть?“

— „Чтоб музыкáнтом быть, так нáдобно умéнье
И ýши вáших понежнéй,“
Им отвечáет соловéй:
„А вы, друзья́, как ни сади́тесь,
Всё в музыкáнты не годи́тесь.“

И. А. Крылóв.

12. Щу́ка и Кот.

Зуба́стой Щу́ке в мы́сль пришло́—
За ко́шачье приня́ться ремесло́.
Не зна́ю: за́вистью-ль её лука́вый му́чил,
Иль, мо́жет быть, ей ры́бный сто́л наску́чил;
Но то́лько взду́мала Кота́ она́ проси́ть,
Чтоб взя́л её с собо́й он на охо́ту
Мыше́й в амба́ре полови́ть.
— Да по́лно—зна́ешь-ли ты э́ту, све́т, рабо́ту?
Стал Щу́ке Ва́ська говори́ть:
Смотри́, кума́, чтобы́ не осрами́ться:
Не да́ром говори́тся,
Что де́ло ма́стера бои́тся!—
— И, по́лно, кумане́к: вот не́видаль—мыше́й!
Мы ла́вливали и ерше́й!—
— Так в до́брый час, пойдём!—Пошли́. Засе́ли.
Натёшился, нае́лся Кот
И ку́мушку прове́дать он идёт;
А Щу́ка, чу́ть жива́, лежи́т, рази́нув ро́т,
И крысы хво́ст у не́й от'ели́.
Тут, ви́дя, что куме́ совсе́м не в си́лу тру́д,
Кум за́мертво стащи́л её обра́тно в пруд.
И де́льно! Это, Щука́,
Тебе́ нау́ка;
Вперёд умне́е быть
И за мыша́ми не ходи́ть.

И. А. Крыло́в.

13. Демья́нова уха́.

„Сосе́душка, мой све́т!
Пожа́луйста поку́шай“.
—„Сосе́душка, я сыт по го́рло“.—„Ну́жды нет,
Ещё таре́лочку; послу́шай:
Уши́ца, е́й-же-е́й, на сла́ву сварена́!“
—„Я три́ таре́лки с'е́л“.—„И, по́лно, что́ за счёты!
Лишь ста́ло бы охо́ты,—
А то́ во здра́вье: е́шь до дна́!
Что́ за уха́! да ка́к жирна́!
Как бу́дто янтарём подёрнулась она́.
Поте́шь же, ми́ленький дружо́чек!
Вот ле́щик, потроха́, вот сте́рляди кусо́чек!
Ещё хоть ло́жечку! Да кла́няйся, жена́!“
Так по́тчевал сосе́д Демья́н сосе́да Фо́ку
И не дава́л ему́ ни́ о́тдыха, ни сро́ку;
А с Фо́ки уж давно́ кати́лся гра́дом пот.
Одна́коже ещё таре́лку он берёт,
Сбира́ется с после́дней си́лой
И очища́ет всю. „Во́т дру́га я́ люблю́!“
Вскрича́л Демья́н: „зато́ уж чва́нных не терплю́.
Ну, ску́шай же ещё таре́лочку, мой ми́лый!“
Тут бе́дный Фо́ка мой,
Как ни́ люби́л уху́, но от беды́ тако́й,
Схватя́ в оха́пку
Куша́к и ша́пку,
Скоре́й без па́мяти домо́й,
И с то́й поры́ к Демья́ну ни́ ного́й!...

И. А. Крыло́в.

---

14. Во́лк и Ко́т.

Волк и́з ле́су в дере́вню забежа́л,
Не в го́сти, но живо́т спаса́я;
За шку́ру он свою́ дрожа́л:
Охо́тники за ни́м гнали́сь и го́нчих ста́я.
Он ра́д бы в пе́рвые тут шмы́гнуть ворота́,—
Да то лишь го́ре,
Что́ все́ ворота́ на запо́ре.
Вот ви́дит Волк мо́й на забо́ре Кота́
И мо́лит: „Ва́сенька, мо́й дру́г! скажи́ скоре́е,
Кто́ зде́сь из мужико́в добре́е,

Чтобы́ укры́ть меня́ от злых мои́х враго́в?
Ты слы́шишь лай соба́к и стра́шный звук рого́в?
Все это́, ведь, за мно́й!“—„Проси́ скоре́й Степа́на;
Мужи́к предо́брый он“, Кот-Ва́ська говори́т.
— „То так, да у него́ я ободра́л бара́на“.
— „Ну, попыта́йся у Демья́на!“.
— „Бою́сь, что на меня́ и он серди́т:
Я у него́ унёс козлёнка“.
— „Бе́ги ж, вон та́м живёт Трофи́м!“.
— „К Трофи́му? Нет, бою́сь и встре́титься я с ним:
Он на меня́ с весны́ грози́тся за ягнёнка!“
— „Ну, пло́хо ж!... Но аво́сь тебя́ укро́ет Клим!“
— „Ох, Ва́ся, у него́ заре́зал я телёнка!“
— „Что́ ви́жу, кум! Ты всём в дере́вне насоли́л“,
Сказа́л тут Ва́ська Во́лку:
„Каку́ю ж ты себе́ защи́ту здесь сули́л?
Не́т, в на́ших мужичка́х не сто́лько ма́ло то́лку,
Чтоб на свою́ беду́ тебя́ спасли́ они́.
И пра́вы,—сам себя́ вини́:
Что́ ты посе́ял, то и жни“.

И. А. Крыло́в.

---

15. Мирска́я схо́дка.

В ове́чьи ста́росты у Льва́ проси́лся Во́лк.
Стара́ньем Ку́мушки-лиси́цы
Словцо́ о нём замо́лвлено у Льви́цы.
Но та́к как о волка́х худо́й на све́те то́лк,
И не сказа́ли бы, что смо́трит Лев на ли́ца,
То ве́лено звери́ный весь наро́д
Созва́ть на о́бщий сход
И расспроси́ть того́, друго́го,
Что́ в Во́лке до́брого он зна́ет иль худо́го.
Испо́лнен и прика́з: все зве́ри со́званы;
На схо́де голоса́ чин-чи́ном со́браны,
Но про́тив Во́лка нет ни сло́ва,
И Во́лка ве́лено в овча́рню посади́ть.
Да что́ же Овцы говори́ли?
На схо́дке, ведь, они́ уж, ве́рно, бы́ли?—
Вот то́-то нет! Ове́ц-то и забы́ли!
А и́х-то бы́ всего́ нужне́й спроси́ть.

И. А. Крыло́в.

---

16. Листы́ и Ко́рни.

В прекра́сный ле́тний день,
Броса́я по доли́не тень,
Листы́ на де́реве с зефи́рами шепта́ли;
Хвали́лись густото́й, зелёностью свое́й,
И во́т как о себе́ зефи́рам толкова́ли:
„Не пра́вда ли, что мы́ краса́ доли́ны все́й?
Что на́ми де́рево так пышно и кудря́во,
Раски́дисто и велича́во?
Что́ б было в нём без нас? Ну́, пра́во,
Хвали́ть себя́ мы мо́жем без греха́!“
—„Промо́лвить мо́жно бы спаси́бо тут и на́м“,—
Им го́лос отвеча́л из-под земли́ смире́нно.
—„Кто́ сме́ет говори́ть столь на́гло и надме́нно?
Вы́ кто́ такие там,
Что де́рзко так счита́ться с на́ми ста́ли?“
Листы́, по де́реву шумя́, залепета́ли.
—„Мы́ те́,
Кото́рые, здесь ро́ясь в темноте́,
Пита́ем вас. Уже́ль не узнаёте?
Мы—Ко́рни де́рева, на ко́ем вы цветёте.
Красу́йтесь в до́брый час!
Да то́лько по́мните ту ра́зницу меж нас,
Что с но́вою весно́й Лист но́вый народи́тся;
А е́сли Ко́рень изсуши́тся,—
Не ста́нет де́рева, ни вас.“

И. А. Крыло́в.

---

17. Ту́ча.

Над изнурённою от зно́я сторо́но́ю
Больша́я Ту́ча пронесла́сь;
Ни ка́плею её не освежа́ одно́ю,
Она́ больши́м дождём над мо́рем пролила́сь
И ще́дростью свое́й хвали́лась пред Горо́ю.
—„Что́ сде́лала добра́
Ты ще́дростью тако́ю?—
Сказа́ла ей Гора́.—
И ка́к смотре́ть на то́ не бо́льно!
Когда́ бы на поля́ свое́й дождь ты пролила́,
Ты б о́бласть це́лую от го́лода спасла́,
А в мо́ре без тебя́, мой друг, воды́ дово́льно“.

И. А. Крыло́в.

---

18. Во́лк и Лиси́ца.

Лиса́, куря́тинки наку́шавшись досы́та
И до́брый воро́шо́к припря́тавши в запа́с,
Под сто́гом прилегла́ вздремну́ть в вече́рний час.
Гляди́т, а в го́сти к ней голо́дный Волк тащи́тся.
„Что́, ку́мушка, беды́!—о́н говори́т:—
„Ни косто́чкой не мо́г нигде я поживи́ться;
Меня́ та́к го́лод и мори́т;
Соба́ки злы́, пасту́х не спи́т,
Пришло́ хоть удави́ться!
—„Неу́жли?"—„Пра́во, так".—Бедня́жка куманёк!
Да не изво́лишь ли сенца́? Во́т це́лый сто́г;
Я ку́му услужи́ть гото́ва".
А ку́му не сенца́, хоте́лось бы мясно́го,
Да́ про́ запа́с Лиса́—ни сло́ва.
И Во́лк пошёл без у́жина домо́й,
Обла́скан по́ уши кумо́й.

И. А. Крыло́в.

---

19. Орёл и Пчела́.

Уви́дя, как Пчела́ хлопо́чет вкру́г цветка́,
Сказа́л Орёл однажды е́й с презре́ньем:
—„Ка́к ты, бедня́жка, мне́ жалка́
„Со все́й твое́й рабо́той и с уме́ньем!
„Ва́с в у́лье ты́сячи всё ле́то ле́пят сот:
„Да кто́ же по́сле разберёт
„И отличи́т твои́ рабо́ты?
„Я, пра́во, не пойму́ охо́ты
„Труди́ться це́лый век, и что́ ж име́ть в виду́?
Безве́стной умере́ть со все́ми на ряду́!
„Кака́я ра́зница меж на́ми!
„Когда́, расши́ряся шумя́щими крыла́ми,
„Ношу́ся я под облака́ми,
„То всю́ду рассева́ю стра́х:
„Не сме́ют от земли́ перна́тые подня́ться;
„Не дре́млют пастухи́ при ту́чных их стада́х;
„Ни ла́ни бы́стрые не сме́ют на поля́х,
Меня́ зави́дя, показа́ться!".
Пчела́ отве́тствует: „Тебе́ хвала́ и че́сть!
Да про́длит над тобо́й судьба́ свои́ щедро́ты!
А я́, родя́сь труды́ для о́бщей по́льзы несть,
Не отлича́ть ищу́ свои́ рабо́ты,
Но утеша́юсь тем, на на́ши смо́тря со́ты,
Что в них и моего́ хоть ка́пля мёду есть".

И. А. Крыло́в.

---

20. Кот и по́вар.

Како́й-то по́вар—грамоте́й
С пова́рни побежа́л свое́й
В каба́к (он на́божных был пра́вил
И в э́тот день по ку́ме три́зну пра́вил),
А до́ма стеречи́ с‘естно́е от мыше́й
Кота́ оста́вил.
Но что́-же, возвратя́сь, он ви́дит? На полу́
Об‘е́дки пирога́; а Ва́ська-кот в углу́,
Припа́в за у́ксусным бочёнком,
Мурлы́ча и ворча́, труди́тся над курчёнком.
—„Ах, ты́, обжо́ра! а́х, злоде́й!“
Ту́т Ва́ську по́вар укоря́ет:
„Не сты́дно́ ль стен тебе́, не то́лько что́ люде́й?
(А Ва́ська всё-таки курчёнка убира́ет).
Ка́к! бы́в че́стным кото́м до э́тих пор!
Быва́ло, за приме́р тебя́ смире́нства ка́жут—
А ты́... ахти́, како́й позо́р!
Тепе́ря все́ сосе́ди ска́жут:
„Кот-Ва́ська плу́т! Кот-Ва́ська во́р!
И Ва́ську-де, не то́лько что в пова́рню,
Пуска́ть не на́до и на двор,
Как во́лка жа́дного в овча́рню:
Он по́рча, он чума́, он я́зва зле́шних мест!“
(А Ва́ська слу́шает да ест).
Ту́т ри́тор мой, дав во́лю слов тече́нью,
Не находи́л конца́ нравоуче́нью.
Но что́-ж? Пока́ его́ он пе́л,
Кот-Ва́ська всё жарко́е с‘ел.

И. А. Крылов.

---

21. Д р у з ь я́.

Соба́ка, челове́к да ко́шка да соко́л
Дру́г дру́гу поклили́сь однажды в дру́жбе ве́чной;
Кляли́сь дели́ть они́ и ра́дость и забо́ту,
Друг дру́гу помога́ть,
Друг за дру́га стоя́ть
И, е́сли на́до, дру́г за дру́га умира́ть.
Вот ка́к-то вме́сте все, отпра́вясь на охоту́,
Мои́ друзья́
Далёко о́т дому отби́лись,

Умáялися, утомúлись
И отдохнýть пристáли у ручья́.
Тут задремáли все, кто лёжа, кто и сúдя;
Как вдрýг из лесý—шáсть
На нúх медвéдь, разúнув пасть...
Бедý такую вúдя,
Сокóл—на вóздух, кóшка—в лéс.
И человéк тут с жúзнью бы простúлся,
Но вéрный пёс
Со звéрем злы́м барáхтаться схватúлся,
В негó вцепúлся,
И, кáк медвéдь егó жестóко нú ломáл,
Как нú ревéл от бóли ú от злóсти,
Пёс, прохватя́ егó до кóсти,
Повúс на нём и зýб не разжимáл,
Докóле с жúзнию всех сúл не потерял.
А человéк? К стыдý из нáс не вся́кий
Сравнúтся в вéрности с собáкой!
Покá медвéдь был зáнят дрáкой,
Он, подхватя́ ружьё своё с собóй,
Пустúлся без душú домóй.

И. А. Крылóв.

---

22. Орёл и Крот.

Со стороны́ прибы́в далёкой
В дремýчий лес, Орёл с Орлúцею вдвоём
Задýмали навéк остáться в нём
И, вы́бравши ветвúстый дуб, высóкий,
Гнездó себé в егó вершúне стáли вить,
Надéясь и детéй тут вы́вести на лéто.
Услы́ша Крот про э́то,
Орлý взял смéлость доложúть,
Что э́тот дуб для их жилúща не годúтся,
Что весь почтú он в кóрне сгнил
И скóро, мóжет-быть, свалúтся,
Так чтóб Орёл гнездá на нём не вил.
Но кстáти ли Орлý приня́ть совéт из нóрки,
И от Кротá! А где же похвалá,
Чтó у Орлá
Глазá так зóрки?
И чтó за стáть кротáм мешáться смéть в делá
Царь-птúцы!

Так мно́гого с Кротом не говоря́,
К рабо́те поскоре́й, сове́тчика презря́;
И новосе́лье у царя́
Поспе́ло ско́ро для цари́цы.
Всё сча́стливо: уж есть и де́ти у Орли́цы.
Но что́ ж!—Одна́жды, как заре́й
Орёл из-под небе́с к семье́ свое́й
С бога́тым за́втраком с охо́ты торопи́лся,
Он ви́дит: дуб его́ свали́лся,
И подави́ло им Орли́цу и дете́й.

И. А. Крыло́в.

23. Лев на ло́вле.

Соба́ка, лев, да во́лк с лисо́й
В сосе́дстве ка́к-то жи́ли.
И во́т како́й
Между́ собо́й
Они́ заве́т все положи́ли:
Чтоб и́м звере́й собща́ лови́ть
И, что нало́вится, всё по́ровну дели́ть.
Не зна́ю, как и чем, а зна́ю, что снача́ла
Лиса́ оле́ня пойма́ла
И шлёт к това́рищам посло́в,
Чтоб шли́ дели́ть счастли́вый лов:
Добы́ча, пра́во, не дурна́я!
Пришли́; пришёл и Лев. Он, ко́гти размина́я
И озира́ючи това́рищей круго́м,
Делёж располага́ет

И говори́т;—,,Мы, бра́тцы, вчетверо́м“.
И на́четверо он оле́ня раздира́ет.
—,,Тепе́рь дава́й дели́ть! Смотри́те же, друзья́:
Вот э́та часть моя́
По догово́ру;
Вот э́та—мне, как льву́, принадлежи́т без спо́ру:
Вот э́та мне за то, что всех сильне́е я;
А к э́той чуть из вас лишь ла́пу кто протя́нет,
Тот с ме́ста жив не вста́нет“.

И. А. Крыло́в.

---

24. Крестья́не и Река́.

Крестья́не, вы́шед из терпе́нья
От разоре́нья,
Что Ре́чки им и Ручейки́
При водопо́лье причиня́ли,
Пошли́ проси́ть себе́ упра́вы у Реки́,
В кото́рую Ручьи́ и Ре́чки те́ впада́ли.
И бы́ло что на ни́х доне́сть:
Где о́зими разры́ты;
Где ме́льницы посо́рваны и смы́ты;
Пото́плено скота́, что́ и не сче́сть!
А та́ Река́ течёт так сми́рно, хоть и пы́шно;
На не́й стоя́т больши́е города́,
И никогда́
За не́й таки́х прока́з не слы́шно;
Так, ве́рно, и́х она́ уймёт,—
Между́ собо́й крестья́не рассужда́ли.
Но что́ ж? Как подходи́ть к Реке́ побли́же ста́ли
И посмотре́ли, так узна́ли,
Что полови́ну и́х добра́ по не́й несёт.

И. А. Крыло́в.

---

25. Лягу́шка.

Живу́щая в боло́те, под горо́й,
Лягу́шка на́ гору весно́й
Пересели́лась;
Нашла́ там те́нистый в лощи́нке уголо́к
И завела́ домо́к
Под ку́стиком, в тени́, меж тра́вки, как раёк.
Одна́кож им она́ недо́лго весели́лась:
Наста́ло ле́то, с ни́м—жары́;

И да́чи Ква́кушки так сде́лалися су́хи,
Что, но́г не замоча́, по ни́м броди́ли му́хи.
—„О бо́ги!—мо́лится Лягу́шка из норы́:—
Меня́ вы, бе́дную, не погуби́те,
И зе́млю вро́вень хоть с горо́ю затопи́те,
Чтобы́ в мои́х поме́стьях никогда́
Не высыха́ла бы́ вода́!“
Лягу́шка во́пит безумо́лку,
И, наконе́ц,099 бого́в брани́ть,
Что не́ту в ни́х ни жа́лости, ни то́лку.
—„Безу́мная!—ей бо́ги говоря́т,—
Как ква́кать по́пусту тебе́ охо́та!
И че́м нам для твои́х зате́й
Перетопи́ть люде́й,
Не лу́чше ль вни́з тебе́ стащи́ться до боло́та“?

И. А. Крыло́в.

---

26. До́брая Лиси́ца.

Стрело́к весно́й мали́новку уби́л.
Уж пу́сть бы ко́нчилось на ней несча́стье зло́е;
Но, не́т; за ней ещё должны́ поги́бнуть тро́е:
Он бе́дных тре́х её птенцо́в осироти́л.
Едва́ из скорлупы́, без смы́слу и без си́л,
Малю́тки те́рпят го́лод
И хо́лод
И пи́ском жа́лобным зову́т напра́сно мать.
—„Как мо́жно не страда́ть,
Малю́ток э́тих ви́дя,
И се́рдце чьё об ни́х не заболи́т?“—
Лиси́ца пти́цам говори́т,
На ка́мушке проти́в гнезда́ сиро́ток си́дя.
—„Не ки́ньте, ми́лые, без по́мощи дете́й;
Хотя́ по зёрнышку бедня́жкам вы снеси́те,
Хоть по соло́минке к их гнёздышку приткни́те,—
Вы э́тим жизнь им сохрани́те;
Что́ де́ла до́брого святе́й!
Куку́шка, посмотри́, ведь ты́ и так линя́ешь:
Не лу́чше ль дать себя́ немно́жко ощипа́ть,
И пе́рьем бы твои́м посте́льку их устла́ть?
Ведь, по́пусту ж его́ ты растеря́ешь.
Ты́, жа́воронок, чем по верха́м
Тебе́ кувырка́ться, кружи́ться,
Ты б ко́рму поиска́л по ни́вам, по луга́м,

Чтоб с сиротáми поделúться.
Ты́, гóрленка,—твои́ птенцы́ уж подрослú,
Промы́слить корм онú и сáми бы моглú;
Так ты бы с своегó гнездá слетéла
Да вмéсто мáтери к малю́ткам сéла.
Ты б, лáсточка, ловúла мóшек,
Полáкомить безрóдных крóшек.
А ты́ бы, мúлый соловéй,—
Ты знáешь, кáк всех гóлос твóй прельщáет,—
Ты б убаю́кивал их пéсенкой своéй.
Такóю нéжностью, я твёрдо вéрю,
Вы б заменúли им их гóрькую потéрю.
Послу́шайте ж меня́: докáжем, что в лесáх
Есть дóбрые сердцá и чтó"... При сих словáх
Малю́тки бéдные всé трое,
Не мóгши с гóлоду сидéть в покóе,
Попáдали к Лисé на нúз.
Чтóж кýмушка?—Тотчáс их с'éла
И поучéнье не допéла.

И. А. Крылóв.

---

27. Лжец.

Из дáльних стрáнствий возвратя́сь,
Какóй-то дворянúн (а мóжет-быть и кня́зь),
С прия́телем своúм, пешкóм гуля́я в пóле,
Расхвáстался о тóм, где́ он бывáл,
И к бы́лям небылúц без счёту прилыгáл.
„Нéт,—говорúт:—чтó я видáл,
Тогó уж не увúжу бóле.
Чтó здéсь у вáс за крáй?
То холóдно, то óчень жáрко,
То сóлнце спря́чется, то свéтит слúшком я́рко!
Вот тáм так—пря́мо рай!
И вспóмнить—так душé отрáда!
Ни шу́б ни свéч совсéм не нáдо.
Не знáешь вéк, чтó есть ночнáя тéнь.
И кру́глый бóжий год всё вúдишь мáйский день.
Никтó там ни садúт, ни сéет:
А éсли б посмотрéл, чтó тáм растёт и зрéет!
Вот в Рúме, напримéр, я вúдел огурéц...
Ах, мой Творéц!
И по сию́ не вспóмнюсь пóру!
Повéришь ли? Ну, прáво, был он с гóру".

—„Чтó за дикóвинка!—приятель отвечáл.—
На свéте чудесá рассéяны повсюду,
Да не вездé их всякий примечáл.
Мы сáми вóт тепéрь подхóдим к чýду,
Какóго ты нигдé, конéчно, не встречáл,
И я в том спóрить бýду.
Вон видишь ли чéрез рекý тот мост,
Кудá нáм путь лежит? Он с виду хоть и прóст,
А свóйство чýдное имéет:
Лжéц ни один у нас по нём пройти не смéет;
До половины не дойдёт—
Провáлится и в вóду упадёт;
Но ктó не лжёт,
Ступáй по нём, пожáлуй, хоть в карéте".
—„А каковá у вас рекá?"
—„Да не мелкá..."
„Так видишь ли, мой друг, чегó-то нéт на свéте!
Хоть римский огурéц велик, нет спóру в тóм...
Вéдь с гóру, кáжется, ты тáк сказáл о нём?"
—„Горá хоть не горá, но, прáво, бýдет с дом".
—„Повéрить трýдно!
Однáкож как ни чýдно,
А всё чудён и мост, по кóем мы пойдём,
Чтó он лжецá никáк не подымáет:
И нынешней ещё веснóй
С негó обрýшились (вéсь гóрод э́то знáет)
Два журналиста и портнóй.
Бесспóрно, огурéц и с дóм величинóй
Дикóвинка, коль э́то справедливо."
—„Ну, не такóе ещё диво!
Ведь нáдо знáть, как вéщи есть:
Не дýмай, чтó вездé по-нáшему харóмы;
Чтó там за дóмы?
В один двоим за нýжду влезть,
И тó—ни стáть, ни сéсть!"
—„Пусть тáк, но всё признáться дóлжно,
Чтó огурéц не грех за диво счесть,
В котóром двум усéсться мóжно.
Однáкож мóст-ат наш какóв,
Чтó лгýн не сдéлает на нём пяти шагóв,
Как тóтчас в вóду!
Хоть римский твой и чýден огурéц..."
—„Послýшай-ка,—тут перервáл мой лжéц,—
Чем нá мост нáм итти, пойщем лýчше брóду".

И. А. Крылóв.

---

28. Пусты́нник и Медве́дь.

Хотя́ услу́га нам при ну́жде дорога́,
Но за неё не всяк уме́ет взя́ться:
Не дай бог с дурако́м связа́ться!
Услу́жливый дура́к опа́снее врага́.
Жил не́кто челове́к безро́дный, одино́кий,
Вда́ли от го́рода, в глуши́.
Про жизнь пусты́нную как сла́дко ни пиши́,
А в одино́честве спосо́бен жить не вся́кий:
Уте́шно нам и грусть и ра́дость раздели́ть.
Мне ска́жут: „А лужо́к, а тёмная дубро́ва,
Приго́рки, ручейки и мурава́ шелко́ва!“
Пре́красны, что и говори́ть!
А всё приску́чится, как не́ с кем мо́лвить сло́ва.
Так и Пусты́ннику тому́
Соску́чилось быть ве́чно одному́.
Идёт он в лес толкну́ться у сосе́дей,
Чтоб с кем-нибу́дь знако́мство свесть.
В лесу́ кого́ набре́сть,
Кроме́ волко́в или́ медве́дей?
И то́чно, встре́тился с больши́м Медве́дем он;
Но де́лать нече́го, снима́ет шля́пу
И ми́лому сосе́душке покло́н.
Сосе́д ему́ протя́гивает ла́пу,
И, сло́во за́ слово, знако́мятся они́,
Пото́м дружа́тся,
Пото́м не мо́гут уж расста́ться
И це́лые прово́дят вме́сте дни.
О чём у них и что́ быва́ло разгово́ру,
Иль при́сказок, и́ль шу́точек каки́х,
И ка́к бесе́да шла́ у ни́х,
Я по сию́ не зна́ю по́ру.
Пусты́нник был неговорли́в,
Мишу́к с приро́ды молчали́в:
Так из избы не вы́несено со́ру.
Но ка́к бы ни́ было, Пусты́нник очень рад,
Что дал ему́ бог в дру́ге клад.
Ве́зде за Ми́шей он, без Ми́шеньки тошни́тся,
И Ми́шенькой не мо́жет нахва́литься.
Одна́жды вздумалось друзья́м,
В день жа́ркий, побродить по ро́щам, по луга́м
И по дола́м, и по гора́м;
А та́к как челове́к медве́дя послабе́е,

То и Пусты́нник на́ш скоре́й,
Че́м Ми́шенька, уста́л
И отстава́ть от дру́га стал.
То ви́дя, гово́ри́т, как пу́тный, Ми́шка дру́гу:
„Приля́г-ка, бра́т, и отдохни́.
Да, ко́ли хо́чешь, та́к сосни́;
А я постерегу́ тебя́ зде́сь у досу́гу".
Пусты́нник был сгово́рчив: лёг, зевну́л,
Да то́тчас и засну́л.
А Ми́шка на часа́х, да он и не без де́ла:
У дру́га на́ но́с му́ха се́ла,—
Он дру́га обмахну́л;
Взгляну́л,
А му́ха на щеке́; согна́л, а му́ха сно́ва
У дру́га на носу́;
И неотвя́зчивей час от часу́.
Вот Ми́шенька, не говоря́ ни сло́ва,
Уве́систый булы́жник в ла́пы сгрёб,
Присе́л на ко́рточки, не перево́дит ду́ху,
Сам ду́мает: „Молчи́ ж, уж я тебя́, востру́ху!"
И, у́ дру́га на лбу́ подкарау́ля му́ху,
Что́ си́лы есть—хва́ть дру́га ка́мнем в ло́б!
Уда́р так ло́вок был, что че́реп вро́зь разда́лся,
И Ми́шин дру́г лежа́ть надо́лго там оста́лся.

И. А. Крыло́в.

Оглавле́ние.

Про́за.

I. Среди́ люде́й и приро́ды.

II. Среди́ люде́й труда́.

III. Ска́зки и леге́нды.

Стихотворения.

а) Среди людей и природы.

б) Мечты и думы человека.

в) Труд.

г) Наука и искусство.—Легенды.

Ба́сни.

Комбинат Издательства и Печати

Т. С. С. Р.

Вышли из печати:

1. Иванов. — Русское слово ч. I. (букварь).
2. Иванов. — Русское слово ч. II. (кн. для чт.).
3. **М. Васильев.** — Русский язык (для II года обучения в татар. школах).
4. **М. Васильев.** — Русский язык (для III года обучения в татар. школах).
5. **М. Васильев.** — Русский язык (для IV года обучения в татар. школах).
6. **М. Васильев.** — Памятники татар. устной народной словесности.
7. **Генри-Крей.** — Лабораторные занятия по физике.
8. **Курбангалеев и Газизов Р.** — Опыт краткой практической грамматики татар. яз. ч. I-я (этимология).

Имеются в большом выборе:

татарские и русские учебники для школ I и II ступени и ВУЗ'ов, научные издания, беллетристика, календари стенные и настольные, на татарском и на русском языках.

С заказами обращаться по адресу:

Казань, Б.-Проломная, № 33, Торговый Сектор Комбината Изд. и Печ. Т.С.С.Р.